

Армия – место, где обычного человека испытывают на прочность по законам зоны. И он понял это с первого дня своей службы. Его угнетали и унижали, заставляли выполнять бессмысленную работу и обслуживать дедов, избивали и морили голодом. Но он знал, что должен выстоять и дожить до дембеля человеком, а не рабом. И еще знал, что когда рядом с тобой происходит убийство, нужно не молчать, а пытаться разоблачить убийц...

Олег Ларионов

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АККОРД

ПОВЕСТЬ

Повесть издана:

О.И.Ларионов.«Дембельский аккорд». Издательство «ЭКСМО-пресс», серия «Русский бестселлер». Москва, 2000 г., 352 с., 12,87 усл. печ.л., разработка оформления художников С.Курбатова и А.Старикова. УДК 882 ББК 84(2 Рос-Рус)6-4 Л 25 ISBN 5-04-005576-5

Олег Иванович Ларионов. «Чужой город». Роман, повести, рассказы. Вологда, издание Вологодского государственного педагогического университета. 2008 г. - 850 с., илл. ISBN 978-5-87822-298-3. ББК 84 (2Рос=Рус). Л25.

Впервые повесть опубликована под названием «Умерщвление великана» в 1997 г. в г.Вологде (ОАО ВОМЗ, зак. 77С, предисловие Андрея Смолина, оформление заслуженного художника России М.В.Копьева).

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АККОРД. Повесть	
Из документальных свидетельств	
Сутки первые	
Сутки вторые и последующие	
Сутки пятьдесят шестые и последующие	
Сутки восемьдесят первые	
Черные Кольцы	
«Сантренаж»	
На вторую сотню суток. Будни и черные выходные	
Подлестничный «бункер»	
Рустам	
Лошара	
Предчувствие весны	
Сутки сто сорок шестые плюс еще одни	
Странный город на том берегу жизни	
Начало охоты	
Колючая проволока	
Госпиталь	
К четвертой сотне суток	
Цой	
Дембельский альбом Полкового	
Сутки семьсот тридцать первые	
Утро	

Приложение. Краткий словарь арг и терминов, употребляемых в повести

**ИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ
СВИДЕТЕЛЬСТВ**

(За пятнадцать лет после развала Союза)

«Меня поражает та злоба и ненависть, которая существует не только в дисбатах, но и армейских частях. Откуда у этих парней столько жестокости друг к другу? Я прошел зоны, начиная с малолетки, многое видел, но *солдатский беспредел самый крутой*.

Из интервью с человеком, который провел в общей сложности 24 года в армейских дисбатах и колониях ИТУ («Аргументы и факты», номер 45, 1991 г.)

«Армия... все более приобретает славу воровской. Такая армия не имеет права на существование».

Александр ЛЕБЕДЬ, генерал-лейтенант, экс-командарм, экс-секретарь Совета безопасности России («Огонек», номер 44-45, ноябрь 1994 г.)

«Я вижу, что идет целенаправленное разрушение, разложение нашей армии... То, что наши правители делают с армией — хуже вредительства»

Виктор РОЗОВ, писатель, ветеран ВОВ («Советская Россия», номер 22, 1997 г.)

«Весь ужас в том, что я, как министр обороны России, становлюсь сторонним наблюдателем разрушительных процессов в армии и ничего не могу с этим поделать».

Игорь РОДИОНОВ, министр обороны России (там же).

«Понятие офицерской чести девальвировалось. Обидно и то, что в армии пошло имущественное неравенство. Оно, как раковая опухоль, пускает метастазы и разъедает войсковой организм.

Страсть к возведению вилл и коллекционированию престижных автомашин вошла в плоть и кровь некоторых высших чинов».

Владимир СЕРЕБРОВ, подполковник («Правда России», номер 3 (85), 1997 г.)

«В Российской армии растет число самоубийств. Военную среду просто поразила эта «эпидемия»... Симптоматично, что половину списка добровольно ушедших из жизни составляют воины первого года службы.

Кто же эти юноши? Как правило, они — из малообеспеченных семей и пришли в армию, не пытаясь «откупиться» от службы, как их сверстники — чада «новых русских». Причины сведения счетов с жизнью: бездушные системы нынешней армейской жизни, полуголодное существование, произвол и издевательства казарменных «дедов».

А что толкает к роковому шагу офицеров? Ведь их фамилии занимают каждую третью строчку в списке самоубийц. Здесь несколько иные мотивы: несправедливость в служебных взаимоотношениях, нищенское существование, убогие жилищные условия...

...Генералитет, стоящий на страже компрадорской власти России, никак не поймет, что чувствуют простой солдат и матрос, прапорщик и офицер, потерявшие веру в жизнь. Увы, утрачено то, что было свято для воина. Развалена великая держава, разгромлен оборонный комплекс, нет армии, службе, в которой посвятили себя офицеры. Более того! Расшатан патристический стержень воинской службы, ратный труд не ценится и стал предметом издевательства, насмешек в средствах массовой информации. Военнослужащие превратились в бомжей в собственном Отечестве.

Кто остановит эту «эпидемию»? Самоубийственную и для военных, и для обороноспособности страны...»

Виталий ЛЫСОВ, генерал-майор («Правда России», номер 2(84), 1997 г.)

«В России, по сведениям Комитета солдатских матерей, ежегодно гибнет более пяти тысяч солдат срочной службы без учета боевых потерь».

НТВ, «Новости», 14 апреля 1997 г.

«Мог ли выиграть [чеченскую] войну министр, который похоронил понятие боевой учебы и при котором за четыре года не прошло ни одного дивизионного учения. При котором налет боевых пилотов упал в десять раз, при котором корабли перестали выходить в море и гнили у причалов, не имея денег на ремонт. При котором даже историческую святыню — парадную площадку, знаменитую Ходынку — продали каким-то кавказским коммерческим структурам».

К-н Владислав ШУРЫГИН, «Завтра», № 1 (162), 1997 г.— с. 4.

«Эта война [чеченская] показала всю тяжелейшую ситуацию с армией... Армия не сумела выполнить поставленные перед ней задачи прежде всего из-за негосударственного управления ею... Ни одна нынешняя реформа не достигла успеха»...

Из беседы с Председателем Комитета Госдумы по обороне генералом Львом Рохлиным, «Завтра», № 33 (194), 1997 г.—с. 3.

«Рядовой Андрей С., служивший в батальоне обеспечения Челябинского танкового училища, избит «дедами» до полусмерти, в результате чего ему ампутировали обе ноги, а сам он был направлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Кроме него были избиты еще восемь новобранцев. Начальник училища пытался скрыть этот факт, выдавая тяжкие телесные повреждения, полученные в результате избиения, за объективные «проблемы со здоровьем». По результатам проверки возбуждено десять уголовных дел, в том числе и

против начальника училища».

По сообщению всех центральных телеканалов
и «Радио России», 29- 30 января 2006 г.

«По статистике в целом за 2005 год в Российской армии зафиксировано 1064 смерти военнослужащих в результате преступлений и насилия, 276 самоубийств, 16 смертей по причине неуставных взаимоотношений. Такие случаи, как происшествие с рядовым Андреем С., в данные статистики не попали, так как не было смертельного исхода».

«Радио России», 2 февраля 2006 г.

«Новосибирский суд признал двух военнослужащих виновными в доведении солдата до самоубийства путем систематических избиений и публичных унижений, и приговорил к трем и четырем годам лишения свободы».

«Радио России», 27 февраля 2006 г.

СУТКИ ПЕРВЫЕ

За высокой каменной стеной не было видно ничего, кроме темнеющего неба. Несколько сотен человек стояли в затылок друг другу более часа. Иногда по живой цепочке передавался слух о возможном начале движения, но он оказывался ложным в очередной раз. Краски неба сгущались, и с приближением вечера осенний воздух быстро холоднел. Многие, у кого рюкзаки были потяжелее, давно поставили их на землю. Кое-кто с непривычки пробовал присесть на корточки, но тут же был поставлен в прежнюю стойку изредка прохаживающимся взад и вперед начальником. Начинал моросить мелкий осенний дождь, из тех, что начинаются исподволь и не кончаются никогда. Люди покорно ждали. Разброд в одежде был разителен — от грязных рабочих штанов и фуфаек до модных джинсов и роскошных кожаных курток с крупными замками-«молниями».

Вдруг в отдалении кто-то истошно гаркнул; со скрежетом отворились металлические ворота приемпункта, огромная масса людей заволновалась разом и, слепо повинувшись какому-то дикому гону, двинулась вперед. Где-то рядом слышались отчаянные громкие крики провожающих, что толпились по ту сторону стены, последние их напутствия, но голоса постепенно тонули в могучем сдержанном гуле и топоте.

Многосотенная толпа мерно катилась в сторону железнодорожного вокзала, парализовав на время одну из городских транспортных артерий. Неистово пробуждалась в ней раскованная сила, и почти сатанинская вакханалия ее вселилась в каждого помимо воли и ожидания.

Длинный перрон в мгновение ока был заполнен людьми, как муравьями. Мы оказались в вагоне, в теснейшей толчее. Наступая друг другу на ноги, опираясь на чужие плечи, спины, головы, каждый стремился прорваться к окну: там, на перроне, стояли родные. Они бодряще улыбались еще, махали руками и говорили что-то напутственное и сокровенное, хотя ничего уже нельзя было различить... И тогда стало ясно: не стекло разделяло нас, а нечто гораздо большее. Мы были уже в ином времени; и город, и цветастую толпу близких каждый увидит Бог весть когда.

Дали зеленый свет. Непомерно длинный, монументально выросший в камень перрона состав натруженно вздрогнул и тронулся.

В вагоне было очень тесно, поневоле приходилось вплотную жаться друг к другу. Куда и делось недавнее всевластье неуправляемого людского скопления!

Молчали, словно чувствуя какую-то свою разоруженность. Кто-то достал большой тяжелый и тщательно оберегаемый вещмешок, доверху затаренный водкой. Стол быстро усеяли щедро припасенной в дорогу провизией — копченой рыбой, мясными консервами. стакан пошел по рукам. Молчание рассеялось, и в прозвучавших словах прорвалось то, что до сих пор каждый таил в себе подобно недомоганию — тревога перед неизвестностью.

— На войну ведь едем, ребята! — пошутил кто-то. Но никто не смеялся.

— Пьем?.. — сержант срочной службы из сопровождающих шел по коридору. — Я могу вылить всю вашу водку в сортир. В армии не пьют.

Сержант сразу привлек наше внимание. Он был пришельцем из того, пока еще незнакомого мира, и мог хотя бы намекнуть на то, что нас ждет. Мы были бы рады любому крошечному кусочку информации.

— Да ты садись, сержант. Держи стакан.

Сержант колебался недолго, и стало ясно, что его угрожающие слова лишь призваны соблюсти формальность и продемонстрировать нам, кто здесь хозяин.

— Что я могу сказать,— говорил он, уплетая бутерброд с толстым куском ветчины. — В армии главное — оставаться мужчиной. Все.

К нему жадно прислушивались. Теперь все, что он говорил, могло иметь свой особый вес, важный для каждого. Хотя то, что он говорил, было общеизвестно, а в его устах выглядело вдобавок напыщенным и пижонистым.

Я забрался на верхнюю, для багажа, жесткую полку. Весь вагон был страшно прокурен, и хотя я не переносил табачный дым, почему-то сейчас не чувствовал его.

Мелькнули перед глазами последние месяцы. Четвертый курс института, который бросил, работа в забавной и не слишком шумной конторке; наконец, две законно свободные недели перед отправкой. Я уходил в армию с оставленным от прожитых лет чувством мечтательной надежды, которое живет в человеке, пока, по крайней мере, он юн, не обременен опытом разочарования и еще более худшим опытом необходимости начинать неудавшуюся и никому не нужную жизнь с начала.

Однажды ко мне зашел человек по кличке Грек, мой давнишний приятель,

мастер спорта по боксу, и сказал:

— Мне тебя, Андрюха, жаль по-человечески. Хочешь навсегда избавиться от этой чертовой повинности? Будет стоить недорого, всего триста рублей (двухмесячная зарплата инженера). Полежишь в психушке пару месяцев у моего знакомого психиатра, тебя обследуют, поставят диагноз. Если даже не поставят, то призыв оттянешь, а там еще на месяцок сунут. И так дальше до двадцати семи лет. А там — свобода.

— Спасибо, за заботу, Грек,— я убрал его руку со своего плеча.— Я русский человек. Я отслужу.

— Ну, ну,— пошел на попятную приятель.— Как знаешь. Хотя, быть может, пожалеешь об этом... Тогда учись драться. Мне-то что — я одним легким движением ломаю челюсть. А ты такой, как все. Впрочем, учиться-то уж поздно.

На том и расстались.

Не ложились далеко за полночь. Сержант пошатывающейся походкой периодически слонялся по коридору.

— Парни, с каждого купе по пузырю — для куска¹. Кусок тоже человек.— (Отправленные за нами младшие офицеры были в других вагонах).

— Конечно,— мы в готовности выставили требуемое. «Куска», а прорча прапора мы видели только два раза: когда он входил вместе с нами в вагон, и под утро, когда из-за помятой физиономии его сложно было узнать. По всем мелким вопросам он предпочитал посылать «заместителя».

Я лежал на полке, оперев подбородок о руки, и смотрел в окно, хотя там уже ничего не было видно.

Утро забрезжило незаметно, как и не закончившийся несмотря на сотни километров дождь. Во внутренностях вагона неподвижно завис отстоявшийся никотиновый смрад и запах человеческого пота. Слышался храп.

— Подъем,— спокойно отхаркиваясь, произнес сержант. — И готовьте деньги. Все! За проезд в общем вагоне пассажирского поезда.

— Но нам сказали, что государство оплачивает...— наивно сообщил кто-то. Сержант с глубочайшим презрением окинул взглядом «грамотного» и стал молча со знанием дела набивать оттопыренные карманы брюк «парадки» скомканными купюрами, не расправляя и не пересчитывая их.

Мы вновь оказались на перроне — теперь уже Ленинграда. Наша и еще две команды из других вагонов остались ждать электричку. Сложились, и один из нас ушел в павильон купить лимонада.

Электричка неслась очень быстро. Предстояло проехать еще около двухсот километров. Места здесь были красивые, удивительные. Голубые ели, синие озера. На небольших станциях мелькали на мгновение белым оскалом высотные дома, и опять тянулся лес.

Вот и наша остановка. Мы запрыгнули в кузов трехосного грузовика с уже открытым задним бортом.

Военный городок был обнесен высоким забором с колючей проволокой, натянутой на штыри арматуры, установленные под углом. Внутри просторно и чисто, вылизано. Блещущие белой краской спортивные снаряды, словно на них сроду никто не занимался, желтая подстриженная травка. Нам сообщили, что

¹ для прапорщика (см. комментарий)

сейчас нас поведут в баню, где мы должны вымыться.

Горячей воды в бане не оказалось. От пола поднимался ледяной пар. Мы поплескались для виду холодной водой и стали выходить. В раздевалке оторопели от увиденной картины: группа солдат и сержантов по-хозяйски вытряхивала наши рюкзаки и чемоданы, разбирая понравившиеся им вещи. На наше появление они даже не прореагировали, словно мы и не люди вовсе, и не владельцы своих вещей, а нечто мелкое и незначущее. Последнее было особенно непонятным и озадачивало.

В моей сумке почти ничего не оставалось, ни новой электробритвы, ни кошелек с приличной суммой, ни набора авторучек, ни наручных часов, свитера и прочего, прочего. Оставалась только пара тетрадок да книжек.

Один из мародеров все-таки решил еще раз удостовериться лично, не затерялось ли там чего-нибудь ценного. Я схватил его за руку, хотя в том уже не было никакой надобности. Он изумленно взглянул на меня, и в ту же секунду в глазах потемнело от страшного удара тяжелым предметом в голову. Потом разглядел — то был большой гаечный ключ, и удар гуманно нанесли плашмя. Я повалился, успев схватиться за водопроводную трубу. Послышался довольный одобрительный смех. Обернулся — ни сумки, ни «ревизора». Впрочем, не было и остальных любителей поживиться: все уже конфисковали. Больше всех повезло Володе Шункову. Его чемоданчик был предусмотрительно прикрыт грязной рваной фуфайкой.

После «бани» сержант повел нас в казарму. Впереди, рядом с дорожкой, словно чего-то ожидая, сложив руки на груди, с ухмылками на лицах, стояла разнузданная свора «дедов» из прикомандированных к учебке подразделений, с фраерскими «знаками отличия», изобретенными не богатой на фантазию армейской мыслью: ремнями, болтавшимися на уровне ширинок, и расстегнутыми до пупа гимнастерками.

На заборе метровыми красными буквами был начертан лозунг: «ВЕРНОЙ
ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!»

Только мы поравнялись с «дедами», как самый нетерпеливый из них набросился на жилистого парня из наших, стараясь вырвать у него из рук баул. Но парень был крепкий, ручка баула затрещала, не сдавшись, и грабитель «пролетел». Тогда двое из толпы с шакальим рычанием прыгнули на недавнего нашего модника, собравшегося в армию в кожаной куртке и новехоньких американских джинсах. Джинсы у него уже украли, и он шествовал в физкультурном трико, а вот куртку с замком типа «трактор» ему удалось спасти. Именно она и стала предметом внимания предприимчивых бойцов. Заломив ему руки назад, они с треском разорвали ее по шву и содрали с него, как живодеры сдирают шкуру с добычи.

— Во дают!— усмехнулся сержант.— Совсем оборзели. Потерпеть не могут,— и повел новобранцев дальше.

— Сейчас вам выдадут сапоги, ХБ,— объявил сержант,— Называйте свой размер и рост.

Мы стояли у каптерки. Из соседнего помещения с табличкой «Командир роты» вышел старлей, человек среднего роста с неподвижными маленькими глазками и непроницаемым бледным лицом.

— Пополнение. Ну-ну,— обратился он к самому себе.— Товарищи бойцы!!! — внезапно рявкнул он.— Вам страшно повезло. Вы находитесь в образцовом краснознаменном подразделении доблестной Советской Армии — учебном

танковом полку... А это кто такое?— внезапно указал он на недавнего модника.
— Ты шта, так и ехал в трико и майке?..

— Так и ехал,— мрачно глядя старлею в глаза, изрек модник.

— Оно и видно,— с жестким движением в уголках губ произнес старлей и продолжал:— А танковые войска — главная ударная сила сухопутных войск... Сержант, занимайтесь людьми,— он ушел.

Получив обмундирование, мы прошли в спальное помещение — сумрачное, с низким потолком; в нем стояли железные кровати, покрытые одеялами отечно-мертвецкого цвета, да такие же тумбочки. Нас посадили на серые одинаковые табуреты с номерками и велели пришивать погоны. Люди, вчера еще пестрые, говорливые, напряженно молчали и настороженно поглядывали на надзиравших за ними сержантов.

Впрочем, сержантам, казалось, ни до чего дела не было. Кто-то пробовал шутить, но шуткам люди не смеялись. Одному новобранцу встретился земляк, служивший здесь полгода.

— Передай своим,— тихо сказал он,— на улицу не выходите по-одному — ограбят прикомандированные с соседних частей. Всегда ходите группой.

— Но с нас уже нечего взять — у нас все отобрали.

— А это что,— указал земляк на новую гимнастерку.— Разденут и дадут взамен старье. И сапоги снимут запросто. А будешь сопротивляться — станешь инвалидом. Так что — только вместе.

Новость каждый тихонько передал соседу.

Погоны никак не пришивались с непривычки. Иголка не шла в тугую материю, а наперстка не было. Промучившись с одним погоном около часа, я, наконец, пришил его. Примерил гимнастерку и к ужасу своему обнаружил, что погон сидит косо. С досадой пришлось его отпаривать. А многие уже заканчивали второй погон. Дело еще осложнялось тем, что сержант пригрозил лишить ужина тех, кто не успеет вовремя справиться с делом.

Вся наша еда за целый день составляла только пирожок и стакан лимонада с утра. Поэтому угроза возымела действие. Оставалось использовать один выход — схалтурить, прихватив погоны в нескольких местах, а не сплошняком, как требовали, лишь бы держались, отложив их доведение до ума на более подходящий момент.

Вскоре нас погнали строиться. Те, кто не додумался до моей хитрости, остались за своим угрюмым занятием.

Строем прошествовали через городок.

— Рррыз! Рррыз!— с тупым командным позерством утробно вякал сержант Горбалы.

Столовая была огромная. Туда разом могло вместиться добрых две тысячи человек. У входа в нее остановились и по команде рысцей двинулись внутрь. Заняли отделением один из множества столов. Там стояла большая алюминиевая кастрюля с похлебкой. Горбалы старательно выловил оттуда все мясо себе в миску, оставив одну жидкую «шрапнель».

Мы сидели неподвижно. Дело в том, что не было ложек. Горбалы неторопливо жрал наше мясо, гуляя желваками под сытой жирной рожей и со свистом чавкая, как свинья у бадьи.

— Вы что, военные, думаете, я вам пойду искать ложки? Учтите, на прием пищи осталось ровно шесть минут,— рыгнул он. Мясо в него больше не лезло.

Один, крайний, пошел к окошку для приема грязной посуды, откуда валил пар. До нас донесся звон и грохот сквозь гул и гам, царящие вокруг.

— Ах ты зелень сраная!— нашего посыльного свалили на скользкий от въевшегося жира каменный пол и энергично принялись пинать ногами в живот.— Ложек он захотел, падла!

Парень едва сумел подняться и убраться на место. Оставалось три минуты.

— Что делать, ребята?..

Шунков взял кусок хлеба и принялся поедать им кашу из кастрюли. Его примеру последовали остальные.

— Прием пищи закончен!— отвратительно рыгнул Горбалы, харкая в наполовину недоеденную миску с мясом. Мы выбежали на улицу, дожевывая то, что успели выловить из кастрюли.

— Кто тут играет в ручной бильярд?— спросил Горбалы, имея в виду, что Семенов держит руку в кармане.— Выверни.

Карман оказался пуст (сержант предполагал, что туда спрятан кусок хлеба).

— Пшел на место!— Горбалы с силой затолкнул его обратно в строй. Семенов не удержался на ногах, упал на соседа, который в свою очередь рухнул в лужу.

— Га-га-га!— заржал довольный Горбалы, вновь отрыгивая от переедания.

После ужина я вместе с другими солдатами продолжал пришивать погоны и петлицы. В двадцать два ноль-ноль нас «отбили». Дежурный офицер прошел по казарме и исчез на всю ночь.

Проснулся я от того, что кто-то настойчиво трогает меня за плечо.

— Военный, подъем,— негромко сказал мне блондинистый младший сержант.— На прием к сержанту Горбалы. Да не одевайся.

Я подошел к крайней койке. Там уже толпились несколько моих товарищей, одетых в кальсоны и сапоги. На кровати, словно турецкий паша, подогнув под себя корявые ноги, в окружении угодливых младших сержантов-замкомвзводов восседал Горбалы. Он пил что-то из чашки. Компания была весела. Мои товарищи пребывали в растерянности.

— Зачем нас подняли?— спросил я, видимо, достаточно громко, потому что один из младших сержантов-шестерок клоунски изобразил:

— Они интересуются, зачем их среди ночи подняли. Объясняю: сержант Горбалы будет сейчас знакомиться с контингентом.

Младшие сержанты, еще сегодня днем один на один разговаривавшие с новобранцами более менее спокойно и нормально, теперь, ночью, в присутствии Горбалы и других своих состайников, внезапно преобразились, становясь грубыми и ехидными, словно пыжились друг перед другом своей «смелостью» по отношению к зеленым, стараясь не уронить таким образом понимаемого ими начальственного «достоинства».

— Фамилия, сколько лет?— заклокотал Горбалы.

— Филиппов Андрей. Двадцать один год,— сказал я.

— Почему не со своим годом пошел служить?

— В институте учился, потом бросил.

— О, это то, что надо. Профессор, значит. Мы любим, когда профессора у нас говно убирают. Значит так, будешь теперь чистить мои сапоги,— по-

барски определил Горбалы как нечто окончательно решенное, и меня обдало запахом «бормотухи».

— Дождись, — ответил я.

— Что-что... — от неожиданного отпора они все дружно расхохотались. — Э, ребята, — давились они от хохота, — он еще не понял, где очутился. Ничего, скоро мы покажем ему высокое образование. Тименко, отведи его говно в сортире убирать. Не хочешь чистить сапоги, будешь убирать говно. А дневальным — отдыхать. Включите все краны и залейте водой пол — пусть е... до утра. А ты, — Горбалы ткнул в лоб моего товарища, — будешь по ночам готовить нам чай. По первому же слову! Тебе все растолкуют. Вот тот, тот-тот, у которого нос на кукарачках, будет подшивать мне подворотничок... — он продолжал определять «должности» все в том же духе, а меня повели «на очко».

— И не вздумай косить, — предупредил младший сержант. — Иначе утром доложим командиру роты, и тебя отправят на губу суток на пятнадцать как дезертира.

В двенадцать ночи я приступил к своим новым обязанностям. Туалет в учебном подразделении оказался образцовым. Керамические «очки» блестели подобно импортным зеркалам. Сотни провинившихся солдат на славу потрудились здесь до меня. Чистить тут было абсолютно нечего. Вот поэтому и включили краны — чтоб с помощью тряпки я убирал с пола толстенный слой воды. Минут через двадцать вода была уже по щиколотку и неумолимо продолжала прибывать несмотря на все мои старания.

Лучше делать бессмысленную работу, чем унижаться перед этим питекантропом, думал я. Часа через полтора дневальный сбавил напор, а потом и вовсе выключил воду. К пяти утра все было готово.

— Ну как? — вопрошал заспанный младший сержант. — Что было приятней — почистить сапоги Горбалы или убирать всю ночь сортир?..

До подъема оставался ровно час.

СУТКИ ВТОРЫЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ

Следующей ночью подручные Горбалы опять попробовали заставить меня чистить своему казарменному пахану сапоги, я вновь отказался, и потому снова оказался в туалете.

Изощренное и заветнейшее желание, почти похоть любого мелкого армейского мерзавца — унижить другого, особенно того, кого в обычной «гражданской» жизни достать трудно, потому что он сильнее или умнее. Здесь же просто грех не воспользоваться данной тебе властью.

Горбалы неистовствовал. Какая-то «поганая зелень» отказывается поклониться ему!.. Внешне верх был на его стороне: я уже четыре ночи подряд «пахал» в туалете, «как папа Карло», выполняя сизифов труд. Но морально он потерпел фиаско. Я дал понять ему, что он мерзавец, и что я его презираю. Конечно, это дорого мне далось. От недосыпания я пребывал в состоянии одеревенения и отупения. Правда, дневальные сжалились надо мной как-то и вопреки запрету отпустили спать раньше — в три часа ночи. Сержанты все равно дрыхли и не могли знать о поблажке.

От сознания бессилья я был на грани нервного надлома. Кто знал, что

пройдет еще некоторое время, и я буду вспоминать о наказании, как о почти обычной повинности, ибо, когда на карту ставят здоровье и жизнь, меняется многое в собственных понятиях. Но тогда я явился из цивилизованного человеческого общества, где нам внушалось, что человек человеку друг, товарищ и брат, и то, что здесь творилось, с непривычки выглядело совершенной дикостью.

Горбалы не простил мне неповиновения и теперь выжидал удобный случай, чтобы отомстить более изощренно. Днем в учебных подразделениях осуществить месть трудно: там полно офицеров. Можно, конечно, дать более грязную работу, можно во время обеда послать за хлебом, что означает неизменное избиение со стороны поваров (так, для порядку) и почти наверняка лишение обеда — из-за нехватки времени. Но сие мелочи. Вся надежда обычно возлагается на ночное время суток. Уж тут-то можно дать волю фантазии!

Подходящего случая все никак не представлялось, а пока я исправно и банально черпал воду в сортире.

На седьмые сутки Горбалы, собрав роту, желтым когтем указательного пальца ткнул в грудь нескольких человек, в том числе и меня:

— Ты, ты, ты... После обеда не расходиться. Вас отвезут на машине.

— Куда?..— забеспокоились мы.

— В армии не задают вопросов, военные,— уничижительно отрезал Горбалы.

В столовой на сей раз ложки наличествовали, но не было тарелок. Мы принялись есть из общего котла, пока не поняли, что вместо супа нам подсунули кастрюлю, в которую сливали объедки. Но было уже поздно, да и думать некогда. Главное, имелись ложки. Тщательно облизав, мы украли их, спрятав в потайные карманы. Так делали здесь все. Если бы мы их не украли, их бы украли другие, и мы бы в следующий раз вновь ели руками и кусочками хлеба. Сержанты закрывали на криминал глаза: другого способа нормально поесть в огромном бедламе не существовало.

Нас, человек сорок, вместе с солдатами из других рот, заставили влезть в крытые брезентом «Уралы», и машины нервно сорвались с места. Вообще, я неоднократно подмечал, что армейские грузовики, управляемые желторотыми солдатами, ездят очень нервно и неровно.

Полдня машина юлила по каким-то чертовым зарослям. И лишь к вечеру остановилась в совершеннейшей глухомани. Было темно, ни огонька кругом. Нам приказали слезть и отвели нас в большой деревянный барак. Там тянулись сплошные деревянные нары, поверх которых лежали голые матрасы. Стояла ржавая печка-буржуйка. Больше ничего.

— Выбирайте себе истопника на сутки. Топить будете по очереди. Сейчас располагайтесь и отдыхайте. Завтра приступите к работе,— сказал офицер.

— К какой работе?

— Там узнаете,— он ушел.

Фантастика! В девять часов вечера нам разрешили отбой. Но главное, здесь не было надзирателей и лоснящейся жирной рожи Горбалы. Он, верно, думал проучить меня. Он ошибался. Правда, что ожидало нас завтра, оставалось только догадываться. Я мгновенно погрузился в мертвецкий сон.

Под утро рассвело, и теперь можно было разглядеть, где мы очутились.

Кругом, покуда хватало глянуть глазу, до самого горизонта, тянулось болото. Болото было впереди, сзади, справа и слева. Исключение составлял лишь пяточок, на котором стояли деревянные хозпостройки барачного типа. Здесь же возвышались огромные кучи с песком. На костре в двух ведрах, ручками надетых на жердину, кипело варево — перловая крупа с кусочками жира. Кашу можно было есть не торопясь, а в случае необходимости и попросить прибавку. Что мы сразу же по достоинству оценили.

В семь утра нам выдали инструмент и поставили задачу: носить на носилках песок метров на пятьдесят и насыпать в трясине вал. Зачем, никто, конечно, не объяснял. «Не положено», говорят обычно. Ну а чтоб мы работали ритмично и насыпали носилки доверху, бдительно следили сержанты.

Песок был сырой и тяжелый, носилки с ним весили килограммов восемьдесят, и если учесть, что переносить их приходилось, прыгая по кочкам, то занятие оказалось не из легких. Напарник мой был покрупнее меня, и я стал быстро выдыхаться. Перекуры, однако, запрещались. Те, кто действительно курил, курили на ходу. Так продолжалось до часу дня. Все, что я видел — бритый затылок напарника, несущего впереди носилки. В час нас отвели на прием пищи.

На костре стояли заветные ведра с похлебкой. Ели мы много. Но наконец-то пришедшее чувство сытости после недельной голодухи в учебке не радовало. Наоборот, вызывало в душе отвращение каким-то своим животным успокоением. Казалось, в нем крылось что-то постыдное.

Руки, ноги, тело ныли с непривычки, однако отдыхать было некогда. В два часа дня я опять увидел затылок напарника и дергающиеся от наших прыжков носилки. Мы не разговаривали — это было просто невозможным из-за того, что один постоянно находился спиной к другому. Да и усталость не позволяла.

В восемь вечера мы возвращались и, перекусив у костра, растягивались в бараке на нарах, укрывшись бушлатами.

То же самое повторилось и на другой день, и на пятый, и на тридцать пятый. Насыпь из песка росла, но очень медленно. Болото постепенно всасывало ее.

Мы узнали, что болото именуют «полигоном», и иногда здесь проходят обкатку секретные сверхмощные танки, таинственно именуемые «объектами».

«Объекты» мы чаще всего слышали, а не видели. Порой над болотом разражался истошный рев, который, казалось, опрокинет небо. От него заламывало уши. Он походил на звук, издаваемый взлетающими реактивными истребителями. То был вой двигателей таинственного неуязвимого танка, находящегося вне поля нашей видимости. Говорили, что при весе в сорок тонн он прет по трясине со стокилометровой скоростью и не утопает в ней.

Раза два нам посчастливилось увидеть танки. Они шли на расстоянии в несколько километров от нас на большой скорости и вспарывали землю, как быстроходные катера рассекают носами воду на два потока, устремленные вверх. Даже на расстоянии можно было заметить, как земляные глыбы, словно мелкие брызги, рассеиваются вдоль траектории движения машин.

Офицеры крайне редко появлялись на полигоне и с солдатами не общались. Если и удавалось поговорить с ними, то случайно. Первый вопрос, конечно, был один: сколько еще нас собираются держать здесь и кому нужны эти песчаные насыпи.

— Тебе, солдат, все равно два года пахать и раньше ты из армии не выйдешь. Какая ж разница!— сказал один из офицеров.

Разница была: так устроено мыслящее существо. К тому же здесь, на полигоне, намного лучше, чем в учебке, хотя и тяжелей физически. Лучше, потому что никто не унижает.

Самым загадочным в «полигонной» истории было то, что неподалеку стояли несколько гусеничных землеройных агрегатов и военных инженерных машин, и технике двух часов хватило бы на то, чтоб сделать насыпь, над которой мы радели уже месяц по двенадцать-четыре часа в сутки.

Взять в расчет хотя бы чисто экономические соображения, рассуждали меж собой мы. Каша и макароны дешевы. Мясо и жир не дороже, потому что свиней выращивают в подсобных хозяйствах на отходах такие же казенные люди, как мы. Но солярку все равно не сравнить по стоимости, и нужно ее к тому же меньше. Мы за минувший месяц могли бы выстроить дом или сделать что-то другое, полезное и нужное, ведь среди нас были строители, инженеры, электронщики, программисты. Мы б, конечно, поняли ситуацию, если бы собирали погибающий урожай или вычищали в хлеву навоз, хотя приятного в последнем случае ничего нет. Но то, что происходило на полигоне, казалось высшей степенью идиотизма или чьей-то саркастической шуткой. Особенно на такую мысль наталкивал огромный кумачовый транспарант, висящий над бараком и до последней стадии обгаженный птицами. На нем аршинно вещалось:

«ВОИН! ТРУД — ДЕЛО ЧЕСТИ И ДОБЛЕСТИ!»

Рядом красовался плакат не менее впечатляющих масштабов, на котором изображался солдат с лицом, носящим явные признаки физического вырождения.

В наших головах, конечно, сквозил целый рой разных предположений, но все они так и остались предположениями.

— О, видели,— говорил Шунков, указывая на плакат.— И мы такими же станем.

Ранее упоминавшийся мной Шунков был высокий худощавый парень, аскет. Мы с ним незаметно сдружились. Вообще странное явление — дружба в условиях казармы или барака. Я считал раньше, что мужчин всегда сближают убеждения, круг и уровень интересов, и только мужчину и женщину любовь может связать вопреки их духовной совместимости и взглядам на жизнь. Оказывается, мужская дружба тоже сплачивает людей на столько друг от друга далеких, что только диву даешься (имею в виду здесь нас с Шунковым). Симпатии в казарме выявляются сразу, так же как и антипатии.

С того дня, как я отказался чистить сапоги Горбалы, многие потянулись ко мне — я сразу заметил. Конечно, не все одобряли меня. Некоторые говорили:

— Да черт с ним, вычистил бы ты ему его проклятые сапоги, зато бы ночь спокойно спал!

Мне казалось, они хотели как-то оправдать себя — ведь они подшивали ему каждое утро подворотничок, носили жрать в постель... И тем не менее они тянулись ко мне в разговорах. Впрочем, говорили мы очень редко, в основном работали, и работа озлобляла.

На полигоне я думал о том, что люди без фантазии и особых целей быстро свыкаются с любой неволей. Ну как, будучи человеком рефлексирующим, можно травить анекдоты, умудряться как-то примитивно развлекаться, находясь в клетке и представления не имея, когда из нее выберешься. Конечно, из нас воспитывали в школе патриотов, и внешне мы осознавали то, что называют долгом. Но чавкающий Горбалы и бессмысленный полигон с долгом ассоциировались плохо, хотя у каждого хватало ума, чтобы понять, что сие, наверное, издержки.

Человек остается человеком. Он не может жить во тьме и под ореолом высоких понятий. Он лишь умеет терпеть. Пусть не говорят мне, что я ошибаюсь. Иначе нужно сломать саму природу человека и соорудить из него биоробота.

Мою мысль словно бы перехватил Шунков, глуховатым хриплым голосом оборвав в нескрываемой досаде бывшего нашего «модника», а теперь анекдотчика и юмориста:

— Ну что ты смеешься! Угодил в дерьмо и рад по уши!..

Тот сразу осекся подавленно и пристыженно.

На полигоне каждый из нас очень скоро понял весомость и значимость таких вещей, на которые раньше просто не обращал внимания. Например, коробок спичек. Или спрятанный под козырек шапки чинарик. Один глоток сигаретного дыма становился здесь единственной радостью за весь день.

Погода портилась, лили дожди, холодало, смеркалось раньше. А мы все носили и носили песок, мокрые с головы до ног. Вперед-взад, взад-вперед. Мы словно бы находились на дне какого-то мертвенного свинцового океана. И вокруг только болото, и еще неизведанность того, что ожидает каждого. Неизвестность — пытка, до которой еще надо додуматься. Ничего нет хуже ее.

Иногда сержанты не выдерживали и уходили греться в барак. Тогда мы забирались в стальной бокс, громадный и холодный, чтоб спастись от дождя, садились на металлическую часть лопаты, зажав черенки между коленок, и в такой невероятной позе погружались в полузабытье. Сесть на землю было нельзя: ее сплошь заливала вода. Казалось, сам мозг был пропитан насквозь вечной сыростью, балансируя по краю, оступившись на котором, провалишься во тьму. Грезы, омраченные глубоко засевшей где-то в подкорке непонятной тревогой, подступали издали сквозь минутную дремоту, изуродованные холодом и сыростью. Но часть сознания бодрствовала, удерживая тело в равновесии. Сквозь сон виделось, как прямо из стены полутемного бокса, расчерченного продольными белыми полосами, как на экране, ярко вспыхнул метнувшийся силуэт солдата, в отрешенной пустоте уставились на нас мертвые жерла танковых орудий, и все исчезло внезапно, словно фантом из параллельного пространства. Это раскрылся на миг и тут же закрылся один из дальних люков, плотно вогнанный во внутреннюю стену ангара, обнажив в электрическом свете то, что стояло за ним.

И снова голос:

— Идем, ребята, надо работать, надо!..

Стоящий «на шухере» наш товарищ замечал приближение сержантов, и давал нам знать. Мы быстро вскакивали и продолжали носку песка. Вода хлюпала в сапогах и чавкала под сапогами.

Конечно, мы считали дни. Но очень скоро поняли, что лучше их не считать. Ведь до дембеля семьсот суток — невероятное число! Надо забыть прошлое, будущее и даже настоящее. Память — вот что не дает человеку покоя. Он начинает сравнивать, и тогда ему становится плохо. Всю жизнь до сих пор он жил с каким-то смыслом, а здесь он живет без всякого смысла. Без внутренней закалки это покажется страшным. К бессмысленности человек привыкает хуже всего. Жить надо узко происходящим, подобно зомби, ни о чем не думать — так будет легче. Носишь песок, ну и носи. Обедаешь — обедай, не удручая себя мыслью о поджидающей нудной работе.

Привычка не думать пришла не с усилием воли, а постепенно, сама собою. Ее создали защитные механизмы психики — постылое безразличие и отключенность. Не будь их, честное слово, в пору было бы рехнуться.

Но механизмы были несовершенны и срабатывали не всегда. Особенно по утрам — стоило только на секунду представить долгий, как год, день, в котором не ждет ничего, кроме тяжелого сырого песка, холода и злобных сержантских окриков. Вот потому я всегда курил по утрам и отводил глаза, чтоб товарищи не видели того, что в них пряталось — собачьей тоски и безысходности. Однако я наблюдал это в глазах у многих.

Мысль об истинной цели пребывания на полигоне продолжала грызть наше оскудневшее сознание. Кто-то предположил, что над нами проводят эксперимент по наблюдению за психикой. Дескать, где-то писали, что в Америке устраивали такие эксперименты, их спустя лет двадцать рассекретили. Гипотезу никто всерьез не воспринял, но слушали с любопытством.

Однажды мы разговорились с двумя парнями, оказавшимися на пяточке, старожилками полигона. Оба были с высшим образованием. Они сообщили, что находятся здесь больше года, им тоже приходилось делать массу никчемной и бредовой работы, но вот такое возведение песчаных насыпей вручную наблюдают впервые. На прощанье они подбодрили нас:

— Никому не верьте. Здесь на вас всем наплевать. Рассчитывайте только на себя и берегите себя. Держитесь!

Вновь и вновь таскали мы теперь уже глину, пришедшую на смену песку, в слякоти, мокрени и ознобе. Разговоры товарищей о кринке парного молока, булочке, печке действовали завораживающе. Неправдоподобие, чудо, тем более удивительное, что оно когда-нибудь сбудется.

А сейчас — черно-синее небо, размытая светлынь на горизонте — отсвет дальних городов, болотная пустыня и смертная усталость. Ноги уже подкашиваются, они не могут держать тела, и канут в лету разговоры о молочке, теплой подушке, и не останется ничего, кроме непереносимого перенапряжения и тупого, фанатичного желания рухнуть, все равно где и когда, хоть в воду, хоть на лед, рухнуть и раствориться...

Еще час мы дотягиваем, кто как может, и возвращаемся наконец-то в барак. Есть больше не хочется. Только упасть на нары.

Сон обычно был мертвым. Казалось, он продолжается до подъема одну минуту. Но в иные дни непонятно откуда тело набиралось силы, и тогда по ночам приходили сновидения. О, это были совсем не те сны, что на свободе! Неожиданные, ослепительно-яркие, цветные. Словно бы мозг жадно стремился найти и находил в них компенсацию за скудное однообразие дней. Я видел фиолетовые скалы, зеленое море, ощущая теплое прикосновение его

мягких волн... Но я всегда искал что-то, и я бежал по длинному лабиринту, стремясь к выходу, а выхода все не было... И тогда охватывало отчаяние. Однако те цветные сны снимали какую-то часть груза с души, и призрак завтрашнего дня не представлял столь неотвратным.

— Ну вот,— блаженно говорил Шунков по утру.— Сегодня ясное небо, хорошая погода. Значит, дождя не будет. У нас тоже свои маленькие радости. Чего ты морщишься, Филиппок? (Так он называл меня, переиначив фамилию на имя).

— Да губы растрескались вконец.

— А ты не грусти. Зачем. Целоваться-то все равно не с кем. Будь другом,— обращается он к моему напарнику по носилкам,— поработай сегодня на погрузке, а я с Филиппком глину потаскаю.

Я знаю причину его просьбы: ему просто приятно быть со мной рядом, почему, Бог ведает.

По-прежнему мы предпочитаем молчать, но иногда кого-нибудь «прорывает», и он стрекочет — чушь, обычные вещи, но его напряженно слушают, и никто из нас не воспринимает его слова таковыми. Как быстро человек забывает все высокое и опускается!..

— Эй, мужики!— опять шумит Шунков.— Странные тут дела творятся. О женщинах не думаешь совсем.

— Да они в кашу какую-то гадость сыплют, бром,— убежденно повторяет кто-то известную армейскую «утку».

Я не верю. Просто понимаю, что инстинкты самосохранения и голода — самые сильные. Они сразу подавляют остальные.

До начала работы остается минут пятнадцать, Шунков оглядывается, нет ли поблизости сержантов (уже бывало, что тайком подслушивая наши разговоры, они усердно передавали их начальникам, и у того, кто вещал «крамолу», начинались неприятности). Сержантов пока нет, и простуженный Шунков хрипит, деля с товарищами припрятанную краюху черствого хлеба:

— Достоевский говорил, страдание очищает человека. А посмотри на этих крыс из учебки, которые чужое мясо и масло сжирают, на сержантов, дедов: скажешь ли по их мордам, что страдание может когда-нибудь их очистить?! Нет, мы, конечно, отбудем, сколько положено нам здесь по закону, и не пикнем. Выполним так называемую повинность. Но кому нужна такая армия?! Они людей не знают, чем занять, куда их деть!..

— Но согласитесь, здесь лучше, чем в учебке,— вклинивается бывший модник и любитель анекдотов (анекдоты он уже не рассказывает).— Там каждый червяк стремится поиздеваться. А здесь что — работа. Работа не унижительна.

— Даже такая, без смысла?— спрашивает Шунков.— Нет, ты не прав, Аркаша. Работа без смысла — особый вид унижения.

— А знаете что,— переключается модник,— я вот что думаю... Они не будут нас держать дольше, чем до зимы. Зимой ведь глина все равно замерзнет. А зима когда-нибудь наступит!

— Железная логика,— соглашается Шунков.

— Тогда будешь носить снег,— мрачно предположил кто-то.

СУТКИ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ

В воздухе закружили первые «белые мухи». Однажды, придя на обед, мы увидели два «Урала», стоящие у барака. Команда была: сдать инструмент и полезать в кузов. Значит, «модник» оказался прав. Нас собирались куда-то увозить.

К вечеру увидели мы знакомые силуэты учебного военного центра.

— Ну что, подготовили полигон?— довольно улыбался Горбалы.— Через полчаса рота строится на просмотр фильма, кроме... — он взял журнал и зачитал фамилий семь. В том числе и мою.— Эти люди идут на разгрузку угля. Подменку получите у каптерщика. Бушлаты не потребуются. За этой работой не замерзните...

Насчет бушлатов было придумано классно. На улице стояла минусовая температура, и чтоб не замерзнуть в гимнастерке, поневоле приходилось постоянно крутиться. Надежда на то, что нечищенные сапоги Горбалы забудутся, не оправдалась. Видно, он решил сжить меня со свету.

Специфический был тип Горбалы. Днем, когда под его началом «духов» загоняли на «пахоту» в автопарк, он забирался в кочегарку и там отлеживался, словно боров на откорме, а следить за процессом работы посылал шестерок. Как-то раз Горбалы поймал мышонка и долго мучил его, крутя за хвост, а потом, когда развлечение ему надоело, со злорадным любопытством и смаком по очереди оторвал у него все четыре лапки. Если бы человек, назначенный по мысли начальства для нашего воспитания, не обладал еще дремучей ленью, то на поприще садистских упражнений он мог бы добиться более впечатляющих успехов.

Итак, во тьме крошечной мы вместе со многими людьми из других рот орудовали совковыми лопатами, стоя на железнодорожных вагонах-платформах, продуваемые насквозь северным ноябрьским ветром. В два часа ночи нас «отбили», а в шесть утра мы уже бежали голые по пояс на зарядку.

К вечеру история повторилась. Горбалы вновь отпустил роту на просмотр фильма и выбрал «угольную» группу из семи человек. Штрафники были новые. Исключение составлял только я.

Через три дня после приезда с полигона исчез Шунков. Кто-то все-таки донес начальству о его опальных «разговорчиках», и его мгновенно убрали. Куда примерно, и что его там ожидало, я догадался, отслужив еще какое-то время. Он исчез внезапно, и я даже не успел узнать его домашний адрес. А он был мне хорошим другом здесь... Уход любого человека из твоей жизни всегда вызывает какие-то мысли. Но когда, пусть даже живые и здоровые, уходят, вырываются кем-то из твоих дней, как сорная трава, твои друзья — в этом скрыто что-то роковое, печальное, как напоминание о неизбежности того, к чему мы все равно рано или поздно придем.

Потом мы приняли присягу. К тем, кто служил недалеко от дома, приехали родители. Некоторые родители атаковали кабинет командира полка: дескать, есть у них нехорошие факты, что не все здесь в порядке, так называемые «неуставные взаимоотношения», круговая порука и т.д. Дабы развеять сомнения чадолубцев, по приказу полковника им тут целый день показывали вычищенные котелки в столовой, крашенные белой краской поребрики и прочую дурь. Считается ведь так: если поребрики выкрашены белилами, а сапоги у солдат блестят, значит, все в порядке.

— Ну, убедились, что у нас все в порядке?— спрашивал командир части.

— А как насчет грабежей имущества, избиений, произвола сержантов?

— Видите ли, товарищи,— объяснял полковник.— Служба у нас не сахар. И вот для того, чтоб избежать ее, молодое пополнение начинает, ну как бы вам помягче сказать, в своих интересах сочинять разные небывлицы. Не всем, видите ли, служить хочется. Уверяю, ничего подобного у нас нет и быть не может, потому что у нас — краснознаменное подразделение!

Скептики были низвержены последним убийственным доводом.

В тот день мы еще случайно узнали в общем-то совершенно безразличную для нас новость: нелепый вал из песка и глины, возводимый нами в поте лица около двух месяцев, не очень понравился командованию. Вернее, совсем не понравился, потому что находился не на том месте. К тому же командир полка впервые услышал, что там бесполезно гниет землеройная техника. И вал был срыт с лица земли бульдозерами в течение нескольких часов.

Ну а я по воле Горбалы продолжал разгружать по ночам уголь. И это после многокилометровых дневных марш-бросков с полным снаряжением, когда люди шли вечером в кинозал только за тем, чтобы втихаря отоспаться там. Сапоги снимать приходилось только на три-четыре часа сна, и ноги дубели в них, теряя чувствительность. Поражало, что я такое выдерживал. Впрочем, несколько позднее мне довелось провести на физической работе тридцать восемь часов подряд, не сомкнув глаз и отдыхая лишь во время приема пищи. Когда на свободе я рассказывал об этом, мне не верили. Но я ни в чьей вере не нуждаюсь. Просто знаю, что мог провкалывать тридцать восемь часов кряду. Больше не пробовал. Вернее, не заставляли. Конечно, будь я хоть на десять лет постарше, вряд ли бы такое перенес.

Как-то после обеда Горбалы окликнул меня на выходе из трехэтажного здания казармы. Он снял мою новенькую шапку и примерил на себя:

— Отлично! Как по мне шита. Забирай!— взамен он нахлобучил мне на голову старую грязную ушанку, от которой нестерпимо воняло потом и еще чем-то отвратительным. К тому же шапка оказалась размера на два-три больше и сразу налегла мне на лоб и уши. Видно, не один сезон и не одному солдату служила она верой и правдой. Прыжком я бросился следом и выхватил свою ушанку.

В первую секунду Горбалы остолбенел. У него глаза выкатились из орбит. Поняв, в чем дело, он с силой рванул шапку на себя, но ничего не вышло. Мгновенно рядом возникла стая младших сержантов. В следующую секунду Горбалы попытался сделать подсечку, но я, дернув на себя шапку и выхватив ее, торсом отбросил его к стене.

— Ах ты, с-сучок!— прошипел Горбалы, словно ядовитая змея.— Ну теперь ты не жилец. Ты издохнешь здесь, падла, медленно и мучительно. Я тебе обещаю!

В тот же вечер я, как всегда, отправился на уголь. А я-то думал, что Горбалы изобретет что-нибудь новенькое! Но радовался я преждевременно. «Изобретение» поджидало меня. В два часа ночи, как обычно, я вернулся в казарму. В этот час как раз будили вторую смену «угольщикова». Не успел я лечь в постель, как сержанты, окружив койку, рявкнули:

— Подъем!

Я поднялся (встать нужно было обязательно, лежащий не защитится).

— Одевайся, ты идешь на уголь!

— Но я только что отработал смену на угле!

— Отработаешь еще.

— Никуда я не пойду!

И тут я услышал шаги. Неспешно по коридору меж койками шел офицер, командир роты — человек с маленькими глазками и бледным, ничего не выражающим лицом. В сердце затеплилась надежда. Странно, что комроты очутился здесь ночью. Такое случается крайне редко.

— Ты давал присягу на службу нашей великой родине?— тихо и ласково спросил старлей.

— Да.

— Ну так е...й куда приказано, если не хочешь нюхнуть дисбата!— внезапно рывкнул он с перебродившей, профессиональной ненавистью.

«Да они все тут из одной шайки»,— подумал я и почувствовал, как меня обдает холодным потом. Я стал одеваться, хоть руки от усталости слушались плохо.

Как узнал я позднее, сержанты «доложили» командиру роты, что я посмел поднять руку на Горбалы. Причин, разумеется, не называли и красок на мое описание не пожалели. Ротный, по обыкновению, не стал ни во что вникать, сказав сержантам: «Ату!»

Итак, моя двухсменная ночная каторга была узаконена самим командиром роты. У меня отобрали то небольшое, что мне здесь еще принадлежало, что было последним остатком того, что можно назвать собственной жизнью — сон. О, лишение сна — чертовски древняя, изощренная пытка у палачей всех времен и народов. Она рассчитана на то, что человек постепенно теряет чувство собственного достоинства и превращается в затравленного раба.

Я валился от усталости, а ночь еще не кончалась. Но впереди ждал подъем и прочее — голова отказывалась думать. Оставалась одна надежда — подремать утром на политзанятиях (спать с открытыми глазами я уже научился).

Весь следующий день я дремал — на ходу, стоя и даже на бегу. До обеда оставалась четверть часа. Сел на табуретку возле своей койки, как и все остальные, и, конечно, тут же отключился. Очень болезненный, отработанный удар по уху линейкой привел меня в чувство. Рядом стоял блондинистый младший сержант.

— Не спите, молодой человек,— с мстительной вежливостью пропел он.— И так будет до окончания учебки, если вы к тому времени не соизволите издохнуть!

Горбалы выстроил роту.

— Филиппов!

— Я.

— Головка от х...!— радостно выпалил он известный перл армейского «фольклора».— Шаг вперед!

Я вышел, шатаясь от хронической усталости и отсутствия сна.

— Товарищи бойцы!— торжественно объявил Горбалы с тем удовольствием и смаком, какие светились на его лице, когда он отрывал лапки у живого мышонка.— Все вы видите этого гада. Он не захотел исполнять моих команд. Теперь он разгружает уголь по ночам в две смены. С этой минуты если я замечу хоть одного, кто общается с ним и помогает ему в чем-то — то самого отправлю на всю ночь выгружать уголь! Угля у нас много. Уразумели, товарищи бойцы? А вот лупить вы его можете. Это даже очень пожалуйста.

В тот вечер меня не отправили в обычный наряд. Дали возможность поспать четыре часа — до двух ночи. Понимали, не железный, и убивать человека нужно не сразу, а медленно. Мой приятель украдкой, делая вид, что не смотрит на меня, прошептал: «Шапка-то у тебя теперь золотая будет! Да с себя все снимешь, лишь бы выжить. Здоровье дороже. Зря ты».

— Даже если тебя в дерьмо превращают?!

— А что, разве мы не дерьмо?.. На целых два года.

— Правильно Филиппов поступил,— твердо вмешался один из земляков, не стараясь особо приглушать голос.— Пусть знают, что мы — люди! На его месте мог очутиться каждый.

Тихой сапой выполз откуда-то бдительный и зоркий младший сержант-шестерка.

— Что за разговоры!— цыкнул он на наших, а меня вновь хлестко ударил указательным пальцем по уху и тут же быстро удалился на всякий случай, видимо, не желая обременять себя непредвиденными осложнениями, ведь сейчас с его стороны поддержка отсутствовала. Все наши, принимавшие участие в обсуждении, сразу сделали вид, что занимаются чем-то своим. А я не мог ответить ему, сил больше не было; меня почти задушили отсутствием сна. И от сознания собственного унижительного бессилья сделалось до крайности обидно, горько — и еще более от того, что товарищи, страхась Горбалы, шарахались от меня, как от чумного. И впереди не было никакого просвета, кроме обещанного мне тихого убиения и ночной пахоты.

Тогда словно бы дрогнула и натянулась до предела струна. Мне показалось, она лопнула... Отчаянная, беспомощная минута... Позднее я становился свидетелем беспощадных драк и избиений, и сам на своей шкуре испытал вещи посерьезнее, чем происшедшее в учебке. Но к тому времени я уже был закален, нервы и воля мои огрубели в постоянном сражении со стервятниками, смелыми с теми, кто временно выбился из сил, и тогда я не испытывал страха или отчаяния. Я привык постоянно противостоять низменной подлости казармы. Оставалась только хроническая тоска волка, посаженного на цепь, она была злой, ожесточающей, заставляющей скрипеть зубами.

Но в ту минуту я был слаб. Если б я говорил, голос бы мой дрожал. Я был жалок. Я не знал, что меня ждет впереди. Шестьдесят пять суток здесь протянулись как десятилетие. Жалкие шестьдесят пять суток, ничтожная часть фантастически бесконечных семисот. Теперь уже не оставалось каких-то сомнений в том, что сержанты беспрепятственно расправятся со мной. И никто мне не поможет.

Единственный, у кого я мог спросить совета, как быть, был мой отец. И я написал ему письмо, которое ночью спрятал под подушку, потому что сержанты имели обыкновение обыскивать обмундирование. Утром я сдал конверт армейскому почтальону.

Жизнь моя под неусыпным оком сержантов двигалась «зеврой». Одну

ночь я вкалывал всю напролет, другую — полночи.

К углю добавилась разгрузка бревен. Про дни я и не говорю: любая грязная или тяжелая работа мне гарантировалась.

Со стороны сержантов шла повальная травля. Отбиваться от них было бесполезно. Их было много, они имели власть, а я, совершенно бесправный, оставался один. Конечно же, сержанты жаждали мордобоя, но не применяли его в открытую. Отнюдь не из благородных побуждений. Они, как черт ладана, боялись «засветиться», оказаться на месте рядовых и быть отправленными в строительные войска. Там многие сержанты в первый же день срывают с себя лычки: рядовые, припоминая их издевательства в учебках, задают им такого жару, что сержанты быстро попадают в положение тех, над кем недавно они сами безнаказанно глумились. «Чистые погоны — чистая совесть», — говорят в войсковых соединениях.

Даже самый обычный день в учебке не легок, а с непривычки может показаться непереносимым. Но если к такому дню добавить еще такую же ночь — тогда твое существование обращается в один сплошной безысходный кошмар. Очень скоро я стал существом без мыслей, без чувств, с тупой деревянной кашей в голове. В ней подобно сигналу тревоги вспыхивал лишь один импульс: «Выжить!.. Выжить!..»

Письма от отца все не было. Я получил несколько посланий от своих друзей с «гражданки», от прежней институтской подружки Светки. Она переписала мне чьи-то длинные стихи о гордости, о благородстве, о доблести. Боже ты мой, каким ничтожным сюсюканьем, каким абстрактным бредом выглядели все эти «высокие» сопли. Да она никогда не сможет поверить в то, что происходит здесь, за высоким забором, и потому и приблизительно не поймет того, что творится у меня в душе. Ибо тот примитивный парадный рафинад дезинформации в фильмах и книгах, которым нас годами пичкала официальная пропаганда, так далек от повседневности, что сама жизнь в его свете может показаться ложью. Потому я не нашел ничего лучшего, как ответить ей в том же безмозглom стиле словесного агитблуда, изначальная цель которого и есть сокрытие истины: дескать, я добиваюсь успехов в боевой и политической подготовке.

Однажды нас заставили носить столы из роты в клуб. Там намечалось офицерское собрание, на котором ожидали присутствие какого-то генерала (иначе обошлось бы без столов). Все было сделано. Я задержался последним.

Большой, словно бы лишенный стен, зал, сцена, черный рояль. Тишина. Еще несколько крох времени, и я уйду отсюда — в мир, который не приемлет все мое существо — нет, даже не из-за физической усталости, недосыпания или голода, ибо это все-таки по большому счету мелочи, а — из-за злобы и до сей поры неведомого мне человеконенавистничества. Но сейчас, здесь, кажется, я принадлежу самому себе...

Взгляд мой вновь упал на рояль. В черном зеркале полировки увидел бритую голову, чем-то знакомое лицо, исхудавшее только, осунувшееся. И все же это был я. Я не умер. Меня всего лишь зачихали в униформу.

Я сел за рояль. Заскрежетали деревянные, холодные пальцы. Они все же очнулись. И спокойные, усиленные акустической ясностью звуки, разбудили зал. Краем глаза я видел, как офицер штаба заглянул в дверь и осторожно прикрыл ее. Он не хотел мешать. А может, так мне пригрезилось. Впрочем, это неважно.

В трагически высоком спокойствии Лунной сонаты не было грозы великих бетховенских симфоний, но за нею лежало то, имя чему океан. В далеком детстве океан, гармония его и красота были настолько неотторжимы от окружающего, что казались неощутимыми, существовавшими сами по себе вечно. Но теперь естественно вошла в плоть и кровь до крайности простая мысль, что красоты нет, если нет нас. Когда-то, почти двести лет назад, скорбь и мысль человека превратились в музыку, а потом в знаки. Легионы людей прешли в никуда, и мы никогда не узнаем ни их имен, ни судеб, ни страстей их. Лишь окаменевшая слеза того человека, ожившая в письменах и воссозданная высотой нашего собственного сердца, отзовется, поднимет падшего, воскресит затихший океан, угасший в нестоящем и мирском...

Вдруг спиной ощутил я, словно сквозь приоткрытую дверь комком щупалец вливается отвратительная магнитная волна антимира.

Они пришли за мной. Пальцы остановились, и я осторожно оглянулся. Они стояли позади, свора сержантов с застывшими ухмылками на восковых лицах.

— Ах, они еще и музицируют,— сплющил губы Горбалы. Но я не видел их. Они находились где-то в непостижимой дали, внизу, ничтожные, мелкие. Я был уже недосыгаем для них.

— Так как ты нас называешь, чмо, композитор? Шакалами?...— продолжал Горбалы. Я насторожился, на подсознательном уровне улавливая что-то очень знакомое. А Горбалы продолжал цитировать слова и выражения, которые я употреблял в письме к отцу. Может быть, я схожу с ума?..

И тут он достал то самое письмо, ответ на которое я столько времени понапрасну ждал, считая часы. Они перехватили его — как, теперь уже не имеет значения.

Зачитывая отдельные фразы, они заглумились, заприплясывали, заулюлюкали, словно дикари из американских вестернов.

— Нам ротный приказал разобраться с тобой насчет этого письма, так что готовься, стукач. Стукач!— загикали они, стараясь, видно, теперь еще примазать мне и эту кличку — кличку прокаженного.

«Стукач» в армии прозвище последнее, как тавро изгоя. Рассчет здесь один — стукача должны презирать все. Если сержант потихоньку докладывает офицеру на рядового, подло уличая его в каких-нибудь мелочах, выставляя их на посмешище, или «молодой», воспользовавшись расположением «зеленого», раскрывает его секреты «черпаку» или «деду», это стукачеством не считается. Но если самый слабый и бесправный — новобранец или «зеленый» — вздумает искать какую-то правду, он непременно будет записан в стукачи, из мести.

Их замысел не оставлял сомнений. Они решили мстить изощренно, добывая меня, ведь на их стороне была сила.

Сильными им было стать не трудно. Такова сила гадкого и ущербного мальчишки, избивающего палкой посаженную на цепь собаку. Их сила была в безнаказанности, и ни в чем более. Но во мне еще звучала музыка Бетховена, и я почувствовал себя сильнее их.

— Отдайте письмо,— сказал я спокойно. Горбалы булькающе довольно хохотнул и стал трясти конвертом у меня перед глазами, рассчитывая, что я кинусь выхватывать письмо у него из рук, а они будут дразнить меня и потешаться.

Тогда я подошел и плюнул ему в глаза.

— Ах ты гнида, уебище,— булькнул он гортанно. Меня свалил навзничь его жирный кулак. Я поднялся, стирая струящуюся изо рта кровь. И вновь меня свалил на пыльный пол его похожий на резиновую грушу кулак. Медленно, словно пес, приподнимался я в пыли на локтях. Нет, я был уже далеко от них. Лишь внимание мое иглой сконцентрировалось в одну точку на том похабном и ничтожном, что хотело опрокинуть меня с высоты бетховенского зала.

Они решили, что я сломлен окончательно. Они так много делали, для того все эти бесконечные дни. Да и Горбалы был пуда на полтора здоровее меня — отожравшийся на ворованных солдатских харчах, выдыхавшийся в тепле кочегарки. По их мнению, я был уже покойник. Но по-прежнему все яснее видел я лишь одну маленькую точку впереди... Не знаю, откуда у меня взялось столько сил. В ярости схватил я винтовой металлический стул, и кинул его в лоснящуюся круглую морду. Горбалы рухнул. Еще и еще раз пытался он встать, но я, полудистрофик, доведенный до изнеможения, месил и месил сапогами эту отяжелевшую, неуклюжую свиную тушу, нелепо бултыхающуюся у меня под ногами, встававшую на четвереньки, и потом вновь грузно бухающуюся на пол. Сержанты роем подскочили ко мне, но я опять успел подхватить маленький и тяжелый железный стул — и они отпрянули. Увиденное в их глазах заставило внутренне зализывать: в них была какая-то озадаченность, нерешительность. Им никто не сопротивлялся раньше, они привыкли творить, что хотели. А теперь они встретили сопротивление и — испугались. Я это очень хорошо запомнил!..

Откуда-то издали раздался дикий вопль: «Прекратить!..» — судя по командному тону, кричал офицер...

СУТКИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВЫЕ

Вероятно, история эта имела бы для меня совсем неважный конец, в любом случае. А дойди инцидент с дракой до ротного, дело бы замяли (ему же расти по службе, нет, осложнений не нужно), со мной же поручили бы все тем же сержантам продолжать «воспитательную работу» — так именуется описанное выше. Скорее всего из учебки бы я вышел калекой.

Но случайным свидетелем драки стал офицер, который за пять минут до нее слышал, как я играл Бетховена. То ли он не любил командира нашей роты (что не удивительно), то ли, напротив, любил Бетховена, или просто был хорошим человеком, так или иначе, но ротный и замполит получили хороший разнос. И тогда события пошли в ином русле, ибо острое шила выглянуло из мешка.

Я остановлюсь сейчас как раз на замполите — человеке, о котором не было еще сказано ни слова. Я не упоминал о нем до сей поры по той простой причине, что при устоявшейся армейской жизни офицер вообще играет в жизни солдата роль ничтожную в отличие от товарища, сержанта или «деда». Тем более замполит. Офицер человек вольный, и психология его так же далека от психологии казенного человека, как марсианская. Офицер думает о повышении должности и звания, о квартире, зарплате и семье, о том, в каком кабаке сегодня наклюкаться. Солдату же его ценности представляются чем-то из категории фантомов, а единственно реальное и трепетное, чем он живет — счетом дней до дембеля. Сколько осталось до дембеля, хотя бы примерно, почти каждый ответит в любое время дня и ночи.

Замполит Майоров, тоже старлей, как и комроты, настолько был не от мира сего, что даже называл солдат на «вы», как и положено по уставу. Вряд ли я сейчас припомню офицера, который всегда обращался бы к солдату, да и вообще к младшему по званию, на «вы». Впрочем, вру. Как-то в одном телефильме я слышал такое. Но не стоит же объяснять, для чего существует телевидение...

Так вот, замполит Майоров был мягкий человек, добросовестно прошедший программу военного училища, отлично выучивший уставы и пребывающий в глубочайшем и безнадежнейшем заблуждении, что все так и есть, как его тому учили. На политзанятиях он усиленно внушал подопечным мысль, что в армии, как во всем любимом отечестве, человек человеку друг, товарищ и брат. Семенов, который с завязанными глазами собрал бы, наверное, цветной телевизор, не записал сию истину, за что сразу получил замечание.

— Я это уже знаю, товарищ старший лейтенант,— сообщил Семенов.

— А вы все равно запишите,— мягко сказал Майоров.— Не помешает.

Майоров прямо сказал, что сначала был зол на меня за ту заваруху, которая тут началась. Но злость прошла, потому что он прекрасно понял, что я стал жертвой обстоятельств. Все-таки я поступил неправильно, не подчинившись воле сержанта Горбалы.

— А как бы поступили вы?— спросил я.

— Я бы выполнил все, что приказывал Горбалы. Вычистил бы его сапоги, отдал ему свою шапку, принес покушать в постель и рассказал на ночь анекдот. Ну а потом доложил бы вышестоящему начальству. По уставу.

Я посмотрел на Майорова, как на больного. Странно, он нисколько не прикидывался. Уже тогда совет Майорова казался бредом, а теперь он мне и вовсе кажется бредом безнадежным, не говоря уже о его изначальной ущербности. Ну а что касается «доклада вышестоящему начальству», то он в среде незаинтересованного личного состава называется, как я уже говорил, стукачеством и зачастую влечет за собой последствия необратимого характера.

Я не стал дискутировать с витавшим в идиллических уставных фантазиях старлеем.

Далее события развивались стремительно. Горбалы разжаловали в рядовые и собирались сослать в строительную часть. Для любого бугра перспектива сняться с насиженного местечка и взяться за лопату не сладка. Потому и приуныли его прихвостни. Бесславный пример Горбалы удручал.

Майоров в последнюю ночь перед отправкой Горбалы заслал меня в «ленкомнату» и дал до самого утра легкую работу — расчерчивать таблички в

журналах со сведениями о личном составе. Решение мудрое, и я за него был благодарен. Разжалованному бугру терять ничего не оставалось, а спящему человеку — я бы после многодневного отсутствия сна отрубился мертвецки — можно беспрепятственно причинить любое зло.

Горбалы несколько раз пробежал мимо ленкомнаты, размахивая кулаками, но напасть не решался. Ему все время кто-то мешал.

Ночь та была в учебке последней и для меня.

— Тебя тоже отправят в другое место,— ласково сообщил мне по утру командир роты, не мигая маленькими глазками, с обычным своим выражением неподвижности на полотняно-бледном лице.— Но там ты будешь между небом и землей.

— Что это значит?

Командир роты наконец-то чуть-чуть улыбнулся блаженно, с наигранной безмятежностью, и ничего не ответил. Я уже так долго, столько суток подряд не спал, а только работал и работал, что происходящее превращалось в один нервозный, дерганый затяжной сон. Мозг соображал плохо, я не понимал слов старлей. Перед глазами давно уже плыли видения, обрывки чьих-то теней и летящие, бесконечно летящие под откос обломки какого-то поезда. Садиться было нельзя: я сразу отключался. Я не знал, снится мне сейчас стоящий передо мной старлей и его блаженные ямочки в уголках рта, или он — явь.

Мне приказали взять немногие вещи и отправляться на плац. Там стояло десятка три солдат из разных рот. Некоторых я знал — дезертиры, воры, драчуны. Палачов, например, отказался принять присягу. А еще один покушался на членовредительство. Кое-кто — выбракованные по здоровью. Другая весомая часть — смесь южан, по-русски понимающих не более трех слов. В армии пользуются двумя словцами для обозначения последних. Одно нейтральное — «ары». Другое ругательное — «чурки». Забавно, но мне случилось быть свидетелем того, как армяне называют чурками азербайджанцев, а азербайджанцы — армян. («Черные» — сугубо гражданский эпитет). Для славян же при обычном повседневном общении они все на одно лицо.

Вот в такой славненькой я компании очутился. Я обратил внимание, что у большинства стоявших на плацу шапки изношенные. Им уже подменили. А моя-то была новенькая! Уловив момент я снял ее и принялся тщательно вытаптывать в пыли. Сорвать с меня такую ушанку желающих отыскалось немного бы. А наружность ерунда, главное, что изнутри она не будет вонять мочой.

Палачов одобрительно взглянул на меня. В Палачове что-то отталкивало. И дело не в его жуткой фамилии. Чернявый, с колючим взглядом и гнусавым, словно издевающимся голосом... Настоящий палач! Он вызывал у меня неприязнь еще и тем, что отказался принять присягу. Я в отличие от него присягу принял, потому что понимал: бугор Горбалы еще не армия. Впрочем, откуда знать, до чего довели Палачова мастера армейского «воспитания»! Со стороны легко судить.

И вот тот самый неприятный мне Палачов (через «о», как он сам говорил, когда его фамилию записывали), стал моим ближайшим товарищем на время пути в неизвестность. Что поделаешь...

Палачов радости не скрывал — ведь под ним здесь земля горела. А я тоже думал: хуже не будет.

Ехали мы на рейсовом «Икарусе». Кому повезло, успел занять места. Я стоял, облокотившись о поручень и смотрел в неизмеримо глубокую синюю даль. Из нее вырисовывался прекрасный город будущего, уже угасающий в блюзовых тонах уходящего морозного дня, весь в новеньких ансамблях тридцатиэтажных домов, тянувшихся нескончаемыми волнами с узорчатыми сплошными лентами балконов и лоджий. А среди синих сосен выглядывали резные терема-особняки. На мгновение что-то всколыхнулось в душе знакомое, близкое, напомнившее о какой-то неведомой сказке. Но потом тут же исчезло. Красота города не принадлежала мне. На самом деле она была где-то очень-очень далеко, на другой, недоступной, утраченной планете.

Мне лишь хотелось спать, и я спал стоя, с открытыми глазами, облокотившись о поручень.

Потом мы ехали в электричке. Впервые за три месяца, протянувшиеся тремя годами, я увидел гражданских. Самым странным была серьезность мысли, что все у них неправильно, что их надо переодеть в хэбэ и шинели, выровнять в шеренги, заставить шагать в ногу, стоять по стойке «смирно» и орать «гав-гав-гав!!!», приветствуя командира.

На крайней скамье сидел старик. Он расспрашивал кое-кого из солдат о том о сем, потом углубился в свое одиночество. На одной из станций к старику подсел затрапезного вида пожилой мужичонка, извлек из потрепанного портфеля бутылку вина, намереваясь ее распить с попутчиком.

— А, гвардейцы,— ухмыльнулся мужичонка, заметив на груди у некоторых знак «Гвардия».

— Гвардейцы!— подтвердил старик.— Я ведь тоже гвардия, всю войну прошел. Так что давай за нее, родную, за гвардию, на которой вся жизнь наша продержалась!..

— Вот за такую гвардию я выпью,— подхватил мужичонка.— А за этих...— он презрительно кивнул в нашу сторону.— Разве это войска? Сопли, сброд... Знаешь, что у них там творится-то? Как на зоне. В наше время о таком позоре и не слыхивали.

Старик задумался, потом резко отставил стакан в сторону.

— На, пей свое вино один. Пожилой человек, а ни ума, ни совести не набрался за жизнь свою.

— Я сам... на войне...

— Да если б ты на войне был, так никогда такого не сказал. Стоял ты на прямой наводке? Нет. Ребята не спят сутками, чтоб ты свое вино спокойно жрал. Никакой ты не фронтовик!..

Не знаю, чем закончился этот пошедший на весьма высоких тонах спор — мы сошли на нужной нам остановке.

К вечеру нас выстроили у пересыльного пункта.

— Кто такие?— спросил тамошний старший прапорщик.

— Да так, срань разная,— со знанием дела пояснил наш сопровождающий. Старший прапорщик понимающе кивнул. И обратился уже к нам:

— Если какая-нибудь падаль выйдет курить, будем ночью выводить по одному и делать разминку. А сейчас проходи по шесть человек и ложись!

В помещении стояли двухъярусные железные койки без матрасов.

— Ложись!— скомандовал старший прапорщик. Один слегка привстал с койки, чтоб увидеть, что происходит вокруг, и тут же был осажен ударом

кулака в грудь.

— Ложись, скот! Всем лежать!

Мы напряженно затаились на голых койках, в шинелях и сапогах, словно прибитые палками псы.

Наконец-то нам выдали сухпак — сухари и консервы (я к тому времени уже успел съесть от голода ароматизированную зубную пасту). Мой сосед одолжил у меня ложку, и с тех пор я его никогда не видел.

Что такое обычная ложка, можно себе представить. Если консервы без нее можно кой-как одолеть, то супа или каши из общего котла, считай, лишился. Значит, будешь голодным. Впрочем, я не слишком расстраивался: у меня оставался еще обломок вилки.

Через сутки мы оказались в числе огромного множества прибывших в какой-то очень большой воинской части, расположенной в лесу. Шло формирование подразделений, офицеры собственноручно выбирали нужных людей и уводили их. Очень охотно «разбирали» плотников, столяров, плиточников-облицовщиков, водителей, и тут же, не стесняясь солдат, обсуждали между собой их достоинства и недостатки.

— Ну, открой рот, чего у тебя зубы редкие? Гнилые, наверное. Нет, этот мне не нужен. Бери, Павлик, себе, мне гнилозубых не надо.

«Беспородного» солдата брали за ремень и отставляли в сторону. Доходяги, малорослые тоже были не в чести. И еще те, у кого не было какой-нибудь более-менее сносной профессии. Шеренги редели и редели, уже день клонился к концу, а десятка два «беспольных» солдат покорно ждали своей участи.

— Слушай, Павлик, вот этот,— указали на меня,— интересный экземпляр. Говорит, на машинке умеет печатать и два иностранных языка знает.

— Нам такие не нужны. Что от них толку, белоручки все!

— А к комдиву в штаб? Да если этот парень стоящий, меня комдив в отпуск быстрее отпустит!

— Можно к Дрянкову его отдать на худой конец. У него двое балбесов растут. Будет их иностранным языкам учить,— офицер даже руки потер от удовольствия, что такой бесплатный клад на целых два года откопал.

После ужина меня отвели в строевую часть штаба полка и, убедившись, что на машинке я печатаю классно, оставили тут.

— Будешь ночевать в санчасти,— велел начальник,— а то ведь эти живодеры его разорвут,— пояснил он офицерам.— По первому же вызову станешь являться сюда и работать. Слова начальника я более чем оценил. Сегодня на ужине я имел возможность составить представление о той зоне, в которой находился. Столовая — место, побывав в котором минут пятнадцать, можно безошибочно судить о «накале» и «законах» подразделения. Здесь все в кратчайший срок выплескивается наружу. Приведу лишь одну сцену, которую наблюдал.

За длинным столом восседали деды, уже заканчивающие трапезу. Стол ломился от ржаного хлеба, разбросанного там и сям. Изголодавшийся дух, который питается по сроку службы меньше и хуже всех, приблизился и взял один кусочек хлеба, который все равно собирались выбрасывать.

— Ну-ка, иди сюда,— поманил его пальцем «старый». Дух робко приблизился. Старик обхватил его за шею и, наклонив вниз, ткнул носом в

тарелку с объедками, после чего соседний ара ударил в живот. Когда дух распрямылся, стоящий поблизости соратник взял швабру с грязной половой тряпкой и с размаху плюхнул духа ею прямо в лицо. Дух зажал глаза руками. Сзади к нему подошел детина из той же банды и, пользуясь тем, что был выше несчастного на целую голову, наклонившись, ударил его лбом по темени. В довершение с духа сняли шапку, а на голову ему надели кастрюлю с недоеденной кашей: мальчишки развлекались. Ну а лишний хлеб, конечно же, молодые свалили в бадью — на корм свиньям. Проходившие мимо офицеры даже не обращали внимания на происходящее: такие вещи тут считались привычными.

На всю огромную столовую слышался истошный волчий рык дедов и черпаков, чудовищная брань и вопли истязаемых жертв. Тут и там возникали локальные очаги гладиаторских боев с использованием кастрюль, мисок и поварешек.

Обстановку я оценил быстро. Поэтому и поразился такой льготе — ночлегу в санчасти. Лишь месяц спустя узнал правду: не столько обо мне заботился начальник строевой, сколько о себе. Человек из штаба корпуса набирал среди прибывших писарей, и начальник строевой полка боялся, что меня могут туда взять. Я ему самому позарез был нужен. Вот он и спрятал меня до лучших времен в санчасть, с глаз долой от больших командиров, придумав липовую болезнь. А мне строго-настрого приказал: чтоб никто, кроме него, не знал, что я умею печатать на машинке.

ЧЕРНЫЕ КОЛЬЦЫ

Казарменный уклад, с которым мне пришлось познакомиться, предполагал две, существующие параллельно и независимо друг от друга правды. Одна правда официальная, более чем наполовину показушная, скорее, некий неосуществимый идеал образцовости. Она состоит из лозунгов, призывов и высоких речей о служении народу и проч. Другая правда та, которую стыдливо скрывают, а то и просто делают вид, что ее нет вообще.

Морали уклад этот также предполагал две. Одна мораль уставная, а другая — расхожая. Лицемерие, с которым на каждом шагу все поголовно от солдата до генерала используют одну мораль, а когда надо, тычут носом в другую, поражает. К примеру, накопает солдат прапорщику-рыболову не полную банку червей — и тот, вытаращив глаза, начнет убеждать «воина», что он не патриот своего отечества и вообще гнида. А заявит во всеуслышание, что в армии есть дедовщина — попадет в категорию трусов и предателей Родины.

Конечно же, лицемерие построено на лжи и страхе. Любая авторитарная структура сплошь зиждется на страхе — младших перед старшими, слабых перед сильными, безропотных перед подлыми.

На наше поколение пришелся расцвет позорной и мерзкой болезни, гнойными очагами поразившей в то время еще самую огромную армию в мире. Болезнь было запрещено называть вслух под страхом суровых наказаний. Смеющийся заикнуться о проблеме немедленно попадал в число

«предателей» и «стукачей». «Предатель» подвергался остракизму, и его участь становилась пугалом для всех. И потому, внутренне понимая и поддерживая бунтаря, большая часть солдатской массы боялась открыто ему потрафлять, так как рисковала оказаться на его месте.

Болезнь была, и в то же время официально ее как бы не существовало. Блудливое мышление военных теоретиков осторожно вместило ее в иезуитский, ничего не выражающий термин «неуставные отношения». Пропаганда старательно и небезуспешно устраивала секрет полишинеля из того, что миллионам мужчин было знакомо под именем «дедовщины».

Знатоки говорят, дедовщина проникла в армию в конце шестидесятых годов двадцатого века, как преображенное наследие зоны. Законы и порядки тюрьмы внедрялись через бывших уголовников, которых стали призывать в строительные батальоны, и оттуда зараза очень быстро в той или иной степени распозлзлась повсюду. Для значительной части офицеров дедовщина выгодна, и они «не замечают» ее. Главное, что худо-бедно выполняется поставленная задача, а как и какой ценой — их не волнует. В «учебках» дедовщины нет ввиду однородности контингента. Там существует лишь своеобразный ее вариант, проявляющийся в сержантском самодурстве. А психологический механизм ее возникновения прост.

Новобранцы всегда удручены внезапным лишением свободы и оторванностью от дома; их внутренние силы подавлены, что используют те, кто уже адаптировался и укоренился. Кроме того, их меньшинство — в среднем одна четверть от общего состава, и глумливые «господа» превращают их в своих безропотных рабов.

Низшая каста у нас именовалась «зелеными». Впрочем, здесь единообразия нет, и все диктуется «боевыми традициями» части. Очень часто зеленых издевательски звали «духами», имея в виду, что новобранец, подобно духу из волшебной лампы, должен немедленно исполнять любые, самые невероятные желания старых. Зеленые, или духи, третируются всеми и не имеют никаких прав. Далее (от шести до двенадцати месяцев службы) следуют так называемые «молодые». Они тоже бесправны, не могут эксплуатировать зеленых, но их участь полегче. Солдат, прослуживший от года до полутора лет, зовется «черпаком» (этимология проста: «черпнул службы») или «фазаном» (видимо, оттого, что фазан всем показывает свой пышный хвост; подобное происходит со вчерашними молодыми, почувствовавшими, что, наконец, можно поднять голову и начать понукать младшими). «Дед» или «старик» — прослуживший от полутора до двух лет. Над ними командиров нет, кроме уставных — ротного и взводных. Он может творить все, что душе угодно. И, наконец, дед накануне увольнения в запас или переслуживший месяцок-другой — не кто иной, как «дембель». Дембелю уже равным счетом на все плевать. Он не командует младшими, и сам ничего не делает. Лишь считает дни до освобождения от почетной службы. Чистейшей воды трутень. Держат дембелей только по двум причинам: если вышла задержка с пополнением, и если командир хочет таким образом отомстить подчиненному.

Черпаков и дедов называют старослужащими. Черпак имеет право приказывать только зеленым и молодым, а дед всем, даже черпакам, но конечно, в более очеловеченной форме, чем существам низшего порядка. Зачастую дед не приказывает черпаку, просто последний, зная свое место, сам берет худшую работу, чем старший. Сержантские звания в частях с богатыми

дедовскими традициями вообще не принимаются в расчет.

Такой порядок в основном везде соблюдается. Но там, где в устройстве этого бесноватого улья, состоящего из рабочих пчел и трутней, доноров и кровососов, внедряются эксцентричные личности, зачастую из бывших уголовников, кое-что меняется... Тогда травле может подвергнуться не только черпак (это особо никого не удивляет), но и свой, более слабый, дед.

Дедовщина бывает разной. Если молодые чаще чистят картошку, чем старослужащие и идут в менее престижные наряды, то, можно сказать, дедовщины там практически нет, а есть робкие безвинные ее ростки.

Меня же за драку с Горбалы сослали в зону, предназначенную по мысли начальства для разного «отребья». Туда направляли и прирожденную шпану, и тех, с кем хотели расквитаться по личным соображениям. Здесь тянули лямку истязатели и истязаемые, воспротивившиеся такому ходу вещей, палачи и их жертвы. Связанные одной цепью, они ненавидели друг друга. Это было мерзкое, но отнюдь не единственное такое местечко на земле. Более того, за два года службы я убедился, что таких частей вокруг полно.

Все проблемы решаются двумя способами: правильно и неправильно. Там, где находился я, они решались третьим способом, то есть так, как они решаются в армии. В зоне у поселка Черные Кольцы за отказ подчиниться воле деда можно было схлопотать пару сломанных ребер (оформленных, кстати, как несчастный случай). Это вам не лишний котел очищенной картошки.

Раз существуют неформальные звания, существуют и неформальные «знаки отличия». У зеленого — порой донельзя затянутый ремень, так что дышать невозможно, и обязательно налысо бритая голова. Попробует «зелень» даже слегка ослабить ремень, и тут же получит «плюху». У молодого ремень сидит чуть-чуть послабже, так, что кишки уже не упираются в грудную клетку, да и волосишки чуть-чуть проглядывают. У черпаков и дедов ремень свисает, пряжка и кокарда на шапке фраерски выгнуты, волосы длинные (по армейским понятиям). Зимняя шапка заламывается на затылок так, чтоб из-под нее виднелся специально выпущенный чуб. У особо «крутых» дедов пряжка болтается между ног, гимнастерка расстегивается на несколько пуговиц подряд, а под ней демонстрируется тельняшка или свитер (зимой). Деду можно носить под портянками носки, поддевать под форму теплую гражданскую одежду. Если в таких вольностях будет уличен молодой, товар у него конфискуют, а самого отправят «на очко». Дед может позволить себе и помодничать — наколачивает на сапоги высокий каблук или гладит их утюгом, чтоб вырисовать блатную «гармошку» иногда в живописной форме ромбов. Утюг после такой операции можно смело выбрасывать из-за несчищаемого слоя запекшегося гуталина.

Подобные дембельские повадки столь прочно усваиваются некоторыми, что даже взрослые мужчины, давно отслужившие в армии, призвавшись на воинские сборы запасников, начинают поспешно выгибать бляхи и кокарды, видимо, стараясь показать, что они «бывалые» и черной работе их подвергать нельзя. Называют их «партизанами». Один раз я наблюдал, как взвод партизан с рыком гонял по столовой дедов, чтоб те убирали за партизанами посуду. Что ж, вполне естественное «домысливание» дедовской традиции!

Кстати, известный армейский глагол «буреть» имеет прямое отношение к званию «зеленый». Буреешь, то есть теряешь зеленый цвет и переходишь в «господскую» касту. Когда зеленому или молодому говорят: «Что, обурел?», то

имеют в виду, что младший забыл свое место.

Конечно, в любом правиле есть свои исключения. Если зеленому страшно повезло (чаще по скрытой протекции командования), и он занял должность каптерщика, повара или водителя командира части, тогда он лишается значительной доли тяжеловесного «внимания» со стороны старослужащих. Кому интересно из-за пустых амбиций не получить вовремя парадку для увольнения или отборный кусок мяса! Ну, а в прочем установка на то, чтоб молодые крутились днем и ночью, зачастую без всякого смысла, лишь бы не спать и вкалывать, яростно и ревниво соблюдается («Мы пахали и вы пашите»).

Самое удивительное, что некоторая часть служащих считала такой порядок правильным. Ими десять лет управляли в школе. Теперь ими управляли в армии. Они встретили здесь унижение и полагали, что, если так заведено, то значит, так и должно быть. Их мозг был слаб, он не привык к анализу и диалектике, и законы казармы быстро превращали их в дуболомов знакомого с детства Урфина Джюса.

Не всех, разумеется. Но изначально падшая часть их тянула за собой остальных. Каждый, дабы быть готовым к сопротивлению, вынужден был равняться на нравственных гоев, менее развитых, более грубых, тех, от кого следовало ожидать любую подлость. А кой-кто в Черных Кольцах не вышел еще из биологического возраста бессмысленной подростковой жестокости и вандализма на интерес, когда режутся сиденья автобусов, поджигаются ремонтируемые дома, бьются стекла в них и устраиваются уличные поединки под предлогом «Дай закурить».

Ребята, призывавшиеся несколькими годами позже, чем восемнадцатилетние, были другими. У них за плечами уже кой-что имелось, они знали о жизни больше и не воспринимали ее как заданность. Но они оставались в меньшинстве и решить ничего не могли.

Таким образом, по здешним законам твоим врагом становился каждый за исключением группы твоего призыва.

Итак, по воле начальника строевой, я очутился в санчасти. Первое, что я сделал — рухнул в кровать и проспал десять часов подряд, до самого утра. Впрочем, так поступал каждый, кому посчастливилось угодить в санчасть. Кроме того, сбылась еще одна моя мечта — я вытащил одеревеневшие ноги из проклятых портянок и вместо сапог мог надевать теперь тапочки.

Утром, открыв глаза, я с удивлением обнаружил, что способность мыслить возвратилась ко мне, и я стал осторожно приглядываться к пациентам. Судя по длине волос, в основном они недавно выбились в черпаки, был и один дедок. Они, конечно же, собрались с разных частей, и единства казарменной стаи у них быть не могло. К тому же санчасть пространство замкнутое, здесь свои порядки.

Проведя мысленно такой экспресс-анализ оперативной обстановки, я сказал себе: «Не подчинюсь ни одному гаду. Буду футболивать». Я уже был достаточно учен и знал, что раскрываться в армии ни в коем случае нельзя. О тебе должны знать как можно меньше, ибо все, что о тебе знают, внезапно может обратиться против тебя. Таков непреложный закон. Ты должен оставаться для всех «черным ящиком», чтоб к тебе нельзя было найти отмычку.

— Ты зелень, да?— первым делом спросили меня.

— Ну,— кивнул я, потому что отпираться было бессмысленно, все равно бы узнали.

— А на гражданке кем был?

— Тренером по боксу.

Молчание.

— А сюда че залетел?

— Понос меня, ребята, замучил. Заразный я.

Больше вопросов пока не последовало. После завтрака в небольшой комнатке медстоловой, где я впервые за три месяца в спокойной обстановке поел, меня вызвали в штаб, который находился двумя этажами ниже, в том же здании. Там я до вечера, сделав перерыв на обед, стучал на машинке. А после ужина, как нормальный человек, принялся читать «На западном фронте без перемен», книгу, которую дал мне Рустам, определенный на службу в санчасть. Повезло ему так потому, что он окончил консерваторию по классу композиции, и, как все музыканты с высшим образованием, добился весьма существенных льгот, дабы уберечь кисти рук и пальцы от грубой физической работы и возможных травм.

Рустам был высокий татарин с глуховато-бархатистым голосом, самоуглубленный, сдержанный. Среди русского народа бытует мнение, что «татары злые», мнение, которое тянется из темной глубины веков и объясняется с точки зрения истории, конечно же, просто. В армии я повстречал великое множество татар и по-настоящему злого видел только одного.

Что сейчас вспоминается действительно хорошее — так это интернационализм. Не липовый, газетно-плакатный, а истинный. Мы даже про себя не делили людей по национальности, в том числе и тогда, когда они едва вязали пару слов на русском языке. Настороженно относились — но не более того — к прибалтам. Хотя, возможно, мне так показалось. Ибо если ты прослужил меньше года, то в равной степени терпишь произвол — будь ты русский, еврей или казах. А общая доля сближает сильнее всего.

С Рустамом мне редко удавалось видеться. Армия уже приучила его быть предусмотрительным, и, когда мы вполголоса говорили о дедовщине, он указывал на запертую изнутри дверь туалета: «У стен тоже есть уши».

— А чего такое «машина времени»?— спрашивает в палате один скороспелый черпак, которого я прозвал про себя Дураком. Был он живой, очень дотошный, вечно во что-то лез с глупыми вопросами и командами.

— Ну, чтобы в будущем появляться или в прошлом,— объяснили ему.

— А че такое «политическая подкованность»?

— Ну как бы сказать-то... Значит, знать, что происходит в мире.

— Ага! А я ведь ничего такого и не знал. В армии многому научился!..

Потом они принялись обсуждать, кто что «хавал» на гражданке — пирожные, колбасы, печенье. Называли сорта, со вкусом перечисляли вкусовые качества. Травили анекдоты, суть которых постоянно сводилась к каким-то умопомрачительным манипуляциям с половыми органами. После каждого такого анекдота Дурак восторженно кричал:

— Понял, понял, а?..

Умственное убожество ребят казалось невероятным. Но я старался скрывать, что их пустые разговоры мне остобрыдли. Не выделяться — золотое

в армии качество. Над явными дураками здесь издеваются, а умных стараются принизить. Самый лучший человек для армии — средний, без духовных запросов. Пусть туповатый, но открытый с виду и в меру коммуникабельный. Если ты не такой, то надо уметь таким прикидываться. Конечно, постоянно выдавать себя за другого достаточно сложно, обязательно сорвешься.

— Сашутка, а Сашутка. Чего, опять яйца склеились?— с этой фразы, обращенной к корешу, Дурак начинал каждое божье утро.— А ты, сынок, заправь за мной коечку,— обратился он уже ко мне.

— Сам заправишь, дедуля,— отрезал я, хотя Дурак был черпаком.

— Че?.. Кончай базар, делай.

— А нос хочешь греческий иметь?

— Че, че такое?

— Римский нос прямой, а греческий — с горбинкой, потому что сломанный,— я подался вперед. Дурак струхнул, отшатнулся.

— Ну ты ночью поймешь науку! У нас боксеры тоже как бабки-липки летают! (Помнил все-таки, что я «тренер»!)

Дурак пошел докладывать на меня сержантам санчасти, чтоб меня проучили и дали мне какую-нибудь ночную работу, но те его послали подальше, сказав, что не ахти он сколько прослужил и пусть занимается самообслуживанием. Тогда Дурак пошел в зубной кабинет предложить меня как рабочую силу, но находящийся там лейтенант медслужбы припахал его самого, заставив драить пол. Дурак вообще ничего не понимал.

Честно говоря, такой расклад и для меня оказался неожиданным. Еще не раз «товарищи» пытались заставить обслуживать их и «запустить в дело» с помощью медначальства, но ничего не выходило. Как будто чья-то рука хранила и оберегала меня. Однако на постоянный отпор уходило предостаточно нервной энергии, так что я совсем перестал общаться с пациентами.

То, что происходило здесь ежеминутно (впрочем, как и везде в армии), не могло вызвать иного чувства, кроме удрученности и подавленности. Например, во время разделки хлеба куски его снизу не разрезались до конца, и когда буханку выносили на стол, все набрасывались на нее, и каждый стремился за счет недорезанной корки оторвать для себя лишние граммы с соседнего куска. Они шумели и огрызались по этому поводу, словно дикие животные у брошенной добычи. Сахар (который положено было брать по три кусочка) тоже расхватывался со страшным боем, с толканьем и битьем. Дело в том, что сахар всегда воровали, и если ты не успеваешь вовремя взять норму, мог остаться без нее. Я никогда не участвовал в их унижительном дележе, оставаясь с ополовиненным куском хлеба или без сахара. Вероятно, они относили это на счет моей нерасторопности или страха. Они и не подозревали, что могут быть какие-то иные причины.

— Слушайте,— сказал я как-то, не выдержав.— На вас всех одинаковая пижама, никто нами не понукает, если даже и дают работу, то легкую, неужели хотя бы здесь, в санчасти, вы не можете быть людьми, просто людьми, а не гиенами?!

— Мы и есть люди,— сказал Дурак,— а ты зеленый.

— Что же, зеленый не человек?

— Пока ты зеленый — ты не человек. Ты должен убирать за нами грязь!

Помолчали. Потом один из них, молодой, добавил:

— Вчера ты уже лег спать, не видел: пришел ко мне старый, растолкал и заставил подшивать ему форму. И я не сказал ни слова. И попробовал бы сказать: меня в казарме, когда выйду отсюда, убьют!.. Не мы законы эти придумали! Послужишь годик-полтора, озвереешь, сам таким будешь!

— Нет, таким я никогда не буду!

— А, чего вы разговариваете с ним,— махнул рукой Дурак.— Ничего не понимает. Даже койку за мной убирать не хочет! Какая же у него эта самая, как ее, политическая подкованность?!

Конечно же, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что будь здесь не санчасть, а казарма, рассуждать мне никто бы не позволил. Но когда зажат со всех сторон, стараешься обратить в свою пользу малейший козырь.

Стрельнешь чинарик, зайдешь в курилку, затянешься, закроешь глаза и стремишься представить оставшийся срок: семьдесят семь суток пройдено, осталось более шестисот сорока. Вообразишь диаграмму — длинный такой столбец, а рядом другой, обозначающий прожитое, в одну восьмую часть первого... И ты уже прекрасно знаешь, что будет происходить в те же оставшиеся шестьсот сорок с лишним суток: мойка полов и унитазов, идиотские наряды, чистка территории, постоянные драки, похабные окрики и оскорбления, волчий расхват жорева и единственное, сверлящее, как бур, желание скорее вырваться отсюда. Окинешь мысленным взором минувшие дни и видишь, что те, с кем только успевал сдружиться, куда-то пропали, и ты вновь оставался один среди гигантского и дикого скопища народа, среди которого не с кем, а то и просто опасно откровенничать. Вспомнились слова Акутагавы Рюноске: согласно буддийским верованиям существуют три круга ада: дальний ад, ближний и ад одиночества. Ад простирается вниз. Ад же одиночества неожиданно возникает в воздушных сферах над горами, полями и лесами. Другими словами то, что окружает человека, может в мгновение ока превратиться для него в ад мук и страданий. Самым тяжелым наказанием как раз было постоянное нахождение на людях, среди которых ты одинок, многие из которых тебе просто неприятны и очень далеки от тебя.

«Dum spiro, spero!» — твержу себе.— Пока дышу, надеюсь. Если бы мне даже довелось умереть здесь, я б пожелал, чтоб на могильном камне были высечены эти слова», — почему-то вдруг думается мне.

«Dum spiro, spero!» — в словах тех теплится магический огонек, в них светится восставший крест среди нескончаемой безнадежности, и я твердил те слова, как молитву. Мертвый древний язык, в который облекалась мысль, придавал ей некую фатально-всевидающую и праведную силу.

Я собирался с духом и оставлял курилку.

В палате стоял хохот. Читали окружную газету «Воинское знамя» с суровым предупреждением под заголовком: «За пределы части не выносить!» и тут же комментировали ее.

«Огромных успехов добились воины Н-ской части в боевой и политической подготовке. Успешно передают они свои знания молодежи. В первый же день прибытия молодого пополнения они отвели бойцов в комнату для занятий и рассказали им о славных традициях своей части».

— Ну не могу! — давился от хохота черпачок-комментатор.— Аж слеза прошибает. Туалет уже комнатой для занятий стали называть. Так бы и писали: «Отвели зеленых на очко, поставили раком и таких звездюлей вставили, что

небо с овчинку показалось».

— Это для конспирации,— пояснили ему.— Чтоб враг не догадался. Военная тайна, сообразил?

— Или вот: «С горечью ощущают старослужащие, что скоро, очень скоро придется расстаться с родной частью, где они получили славную закалку...». Не, ты понял, это чего получается, зеленым хари мочить да листья осенью красить —«славная закалка»? Ну точно, я со смеху лопну, ребята.

— Дрыхни лучше, в казарме думать будешь за шваброй.

Мой рай скоро кончился. Еще неделю я работал в штабе за разбитой машинкой по двадцать часов в сутки, и если делал от усталости пяток ошибок на странице, заставляли перепечатывать. Деньги за мою работу получала себе жена начальника строевой части, числящаяся в машинистках.

Потом еще целый день мы, человек тридцать, работали на продуктовом складе. Наша задача состояла в том, чтобы разобрать штабеля ящиков со сплосшь сгнившими помидорами, выбрать более-менее хорошие, вновь сложить штабеля на место, а снаружи замаскировать их неиспорченным продуктом. Проводилась инсценировка к приезду генерала, который мог заглянуть на склад. Генерал на склад так и не заглянул, потому что не приехал вообще, а нас еще часа четыре держали на морозе и не запускали в казарму, чтоб мы там не натоптали пол к возможному приходу большого босса.

Странно было наблюдать этих жалких, запуганных, дрожащих от озноба людей, которые гораздо больше походили на безропотных телят или рабочих лошадей, нежели на Вооруженные Силы.

Начальник строевой части сказал мне, что аврал в штабе кончился, что я ему больше пока не нужен, в санчасти меня держать нет смысла, и что я пойду на общие работы.

Казарма распахнула двери.

«САНТРЕНАЖ»

Ночью слышу какой-то шум. Нет, это не сон. Какие-то люди размахивают во тьме казармы солдатскими ремнями и наносят нам, зеленым, удары бляхами, куда попадет — в спину, грудь, голову.

— Подъем, сволочи! На проход — всем на проход!!

Я ослеплен ударом в переносицу, почти ничего не вижу и не соображаю. Почему-то в памяти, как затерявшийся на киноэкране кадр, проносится ласково улыбающееся лицо старлея из учебки и слышится его шипение: «... но там ты будешь между небом и землей... между небом и землей...землей...»

Нас, одетых, словно привидения, в белые кальсоны и нижние белые рубашки, босых, сгоняют в проход.

— Лежать, лицом вниз, твари!..— снова слышится истерический вопль. Тех, кто не успевает понять команду, и меня в том числе, сваливают пинками обутых в кованые сапоги ног и ударами в затылок. Кастетами служат все те же

ремни, намотанные на фаланги пальцев таким образом, чтоб бляхи торчали наружу. Угарный запах натертого мастикой некрашеного пола проникает в нос. Пол, бледно-коричневый от пыли, въевшейся в мастику, едва освещается единственной лампочкой у тумбочки дневального. Они, враги наши, превышают нас по количеству раз в три.

— Встать!!

И опять слышу довольный вой и хохот. То смеется черноволосый, черноусый, с массивной нижней челюстью, дед, что восседает на кровати, специально развернутой для зрелища к проходу боком. Он высок, лицо у него угрюмое и круглое. Зовут его Князь. Сначала я думал, что это какой-то неизвестный мне дедовский чин. Потом выясняется: фамилия его Князев. Он старослужащий, старший сержант к тому же, замкомвзвода. Рядом с ним на койке расселись и другие деды для «самодеятельного» концерта, «последней дедушкиной радости».

Машут ремнями большей частью черпаки, вчерашние молодые, которым не терпится поскорее поднять хвост и отгуляться на невинных людях за перенесенные в течение года обиды. Теперь им можно по сроку службы.

— Полковой, протри-ка нашему многоуважаемому министру обороны очки, а то он не видит, что тут делается-то...— цинично потешается Князь и устало зевает. Полковой (настоящая его фамилия Балковой), из молодых, то есть на ранг нас выше, услужливо хватает тряпку, встает на табуретку, стоящую у массивной колонны, приподнимается на цыпочках и протирает изображение очков на портрете главного военачальника страны. Деды гогочут и насмеваются.

— Ладно, довольно. Покажите-ка теперь им сантренаж,— скучливо говорит Князь, произнося последнее слово с французским прононсом. Видать, все это ему давно надоело, ничто не радует старичка. Но зато черпакам неймется.

— На пол!!

Нас сваливают подвернувшимися под руку табуретами и иными предметами, идущими без разбору.

— Ползи под койками! Быстрее, падлы!!

Мы ползем на локтях. Тех, кто ползет медленно, подгоняют швабрами. На выходе нас вытаскивают из-под кроватей за шкворень, как напакостивших кошек и, раздавая на всякий случай тумаки, ведут к Князю.

— О, откуда это такое, ребята?— каждый раз делают они удивленный вид, извлекая из-под койки очередного зеленого, и хохочут. На лицах наших выражение страшной подавленности, на их лицах — испытующее любопытство и довольство.

— Полковой, а Полковой,— опять говорит Князь денщику-шестерке,— научи духов поэзии.

Полковой с услужливой поспешностью хватается за табуретку, взбирается на нее, как на сцену, и начинает с выражением и сильным хохляцким выговором декламировать:

«Дембель стал на день короче,

Старикам — спокойной ночи!

Пусть им снится дом родной,

Баба с пышною п...,

Море водки, пива таз ,
И всем дембельский приказ!»

Деды потешаются, хватаясь за животы.

— Ну а теперь вы будете повторять стихи за Полковым хором, и если хоть одна гадина не будет орать их как следует...

Наши старательно орут.

— Стоп! Ну-ка ты, ты,— Князь показывает на меня, потому что я стою перед ним молча,— подойди ко мне. Тебе что, сынок, наша казарменная поэзия не нравится, а?

— Нет, не нравится,— в тон ему говорю я. В ту же секунду я корчусь на полу от хорошо поставленного удара в солнечное сплетение. Послушные черпаки волокут меня обратно в строй.

— По новой!

Но я молчу по-прежнему, с ненавистью глядя на истязателей.

— Вот что,— обращается Князь к стае черпаков,— пусть духи орут поэзию до тех пор, пока этот урод не заорет вместе с ними. Когда им надоест, они сами его отп...ят.

Наши надрывают глотки, декламируя «стих» в пятый, десятый, пятнадцатый раз... Я молчу.

— Ну слушай, ты, поймей совесть,— говорят мне наши в кратком промежутке между «литературными чтениями».— Чего тебе стоит!..

— Если себя не уважаете, так ублажайте этих нелюдей!..

Еще две читки, и я получаю первую плюху — от своих же. Потом вторую. Видать, совсем плохи мои дела. Что там учебка, что там вонючий Горбалы... Но я не сдаюсь. Свои бьют не сильно, так, для виду.

— Видно, он до генерала решил дослужиться,— заключает Князь,— генерала Карбышева. Никак не хочет услаждать наш слух поэзией. Вот и произведите его в генерала Карбышева.

В ту же минуту трое черпаков сбивают меня и, схватив за ноги, волокут по коридору. Занозы некрашеного пола впиваются в голую спину. Меня заволакивают в туалет на плитчатый керамический пол, залитый ледяной водой. Батареи здесь всегда чуть теплые, а окно давно раскрыто нараспашку. На улице — минус двадцать пять.

— Попотчивайте-ка его пивом.

От сильного удара в печень парализует дыхание, и я падаю в ледяную воду. Пинками меня вновь заставляют встать.

— Чего, неужели так сильно? Да неужели, серьезно? — прикидывается черпак Шамов, маленький, шустрый, словно хорек. Я скриплю зубами. Неизвестно, чего от них ждать.

— Вот что,— вступает в разговор высокий латыш, черпак, с сильным акцентом, и кладет ладонь мне на плечо, как на собственность.— Этот дюх пойдет мой. Саафтра у него пойдет много пахота. Я попрошу Князь, думаю, он его мне оттааст.

На прощание латыш выбивает мне передний зуб, и они уходят в каптерку допивать водку. Я поднимаюсь и смотрю в зеркало. Мой вид ужасен. Руки, ноги окоченели и не шевелятся. Из окна валит морозный пар. Замечаю, что на подоконнике лежит кверху лапками трупик замерзшей синички. И ловлю себя

на мысли, что завидую ей. Завидую тому, что она мертвая.

Смыв кровь, вернулся в расположение. Было уже тихо. Все спали. Лег и я.

Под утро они вернулись из каптерки. Укладываясь спать, обсуждали, какие приемы карате изучали на зеленых.

— У меня круговой удар ногой лихо вышел,— хвастался Шамов.— Тот толстомордый сразу слег, как подкосило.

— А я блок снизу на паре духов отработывал. Надо будет еще потренироваться.

— А я просто занимался покс. Им это полесно,— улыбнулся латыш и с гордостью показал окровавленный кулак, разбитый о мои зубы.

НА ВТОРУЮ СОТНЮ СУТОК. БУДНИ И ЧЕРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Армия, особенно этакая, особенно когда ты бесправный зеленый — прелюбопытнейший полигон для испытания человеческой психики. Здесь очень быстро задумываешься о биологической и социальной природе поведения человека — вершине звена эволюции, о том, что миллиарды поколений различных существ поедали друг друга, пока не воплотились в нем. Впрочем, на особые размышления времени не оставалось. Здесь вообще живешь не философскими, а весьма конкретными материями. Размышления мелькают изредка, как одинокие искры среди постоянной борьбы за выживание.

Я сдружился с зеленым собратом Лариком. Фамилия его Лаврентьев, но все зовут Лариком. Он моложе меня, ему восемнадцать лет. Ростом с меня, сухощав. Мы вдвоем, потому что он, как и я, предпочитает «схватить звездюлину»², чем выполнять унижительные приказания дедов. У него есть человеческая гордость, и я уважаю его за это. А он уважает меня, потому что я открыто показал им свое презрение, за что и был бит до полусмерти. Тех своих братьев, которые безропотно читают «стихи» на потеху издевателям, мне жаль. Я их очень хорошо понимаю. Но где-то глубоко-глубоко внутри я чувствую себя более стойким, чем они, потому что не унизился до такого.

Но здесь нельзя сопротивляться всему. Физически невозможно. Конечно, если ты не самоубийца. Нужно принимать правила системы. В размерах, границу которых жестко очертишь. Они, эти нелюди, в конце концов поймут, что она у тебя есть и перешагивать через нее небезопасно для них же самих. Хотя сколько я видел тех, у кого нет такого предела, унижать кого, как тряпку, кажется, можно до бесконечности.

Мы с Лариком, впрочем, как и другие, стираем горы чужого белья по ночам. По ночам, потому что днем есть другая работа, основная, которую дают офицеры. Дедам мы постоянно вредим. Например, если попадутся в чужом ХБ забытые документы, безжалостно уничтожаем их на свой страх и риск. Иногда потом приходится расхлебываться. Не верят, что не видели. Бьют. Еще часто мы ломаем, а то и выбрасываем орудия труда, хотя за их исчезновение достается опять же нам.

— Их слишком много,— сокрушаюсь я.— Нам ничего не поделать. Придется

² здесь и далее автор по возможности мат заменяет эвфемизмами.

терпеть.

— Дикари какие-то!— говорит Ларик.— Удивительно плохой народ здесь подобрался.

— Неужели ты будешь так же поступать через год?— спрашиваю его я.

— Да ты что!— искренне возмущается Ларик.— Мы установим свои порядки. У нас такого не будет!

— Я рассказал Ларику историю с шапкой.

— Не отдал? Правильно! У меня шинель хотели отобрать. Тоже послал их. А вот шапку-то украли. Так бы шиш отдал!

Кроме «сантренажа», используемого как средство подавления личности, средство внушения зеленому его неполноценности и ничтожности, у нас еще постоянно практиковались «черные выходные», как мы насмешливо их меж собой окрестили. Жизнь зеленого такова, что ему надо по мере сил постоянно никому не попадаться на глаза, прятаться. Лучше всего получить какую-нибудь неприметную работу, чтоб тебя никто не видел. Но если ты попался на глаза — тебя непременно будет позволено бить каждому, и работай, а то и просто издевательскими приказаниями тебя замучают.

«Черный уикенд» — как раз то время, когда скрыться некуда. Старики в связи с выходным томятся целый день в казарме, кое-кто из них успевает взбодриться спиртным, а значит, в особенности «созреть» для зверства. Ну а зеленым дается какое-нибудь задание, связанное с «наведением шмона», и они все на виду.

Задания, назначаемые зеленым, как и многое из того, что творится в самой огромной армии мира, напоминают бред сумасшедшего. Например, часа в три ночи с субботы на воскресенье их внезапно будят и «ставят задачу»: разбить старые стекла на мелкие куски и при помощи таких импровизированных скребков счищать с пола потемневшую от сапог мастику. Так как площадь казармы огромна, а зеленых всего десяток, работы тут может хватить на сутки. Но дело осложняется тем, что часам к одиннадцати-двенадцати дня деда постепенно просыпаются, и тут начинается самое ужасное.

— Одна минута времени, и завтрак у меня в постели!— орет один.— Пшел! — и пинает первую попавшуюся зеленку, усердно скобящую пол.

— Стой! А кто за тебя, сука, будет заниматься уборкой?— ловит его на выходе ответственный черпак и бьет по лбу.

— Да мне—это... покушать принести...— дрожа от ожидания получить очередную плюху, оправдывается зеленый.

Поглумившись вдоволь, черпак все-таки отпускает его, но кричит вслед:

— За то, что ты отлынивал от работы, сегодня всю ночь будешь стирать носки.

Бедный зеленый бежит в столовую, и пока выпросит еду для свирепого дедушки, успеет получить несколько шишек от поваров. Да еще и припашут, заставив натаскать воды в котел. Едва вырвавшись оттуда с заветным харчом, он вновь попадает в когти старослужащих, которые наперебой раздают задания:

— Подшить мне подворотничок!

— Кто взял мою бритву — ищи!..

— Дуй за теплой водой в кочегарку!

— Неси утюг!

— Шевелись скорее, сука!

— Э, да он издохнет скоро, подсыпьте-ка ему скипидарчику!

Иногда деды грызутся между собой из-за приоритетного права обладать трудом зеленого: последних мало, они в дефиците. А кому-то срочно надо использовать зеленого для подшивки погон, кому-то для стирки.

В зеленого летят швабры, тазы, щетки, град тычков сопровождает его повсюду. Тут уже не до уборки, которая становится второстепенным делом. В обед бедлам продолжается. Зеленый едва успевает бросить наспех чего-нибудь в рот перекусить, потому что постоянно приходится прислуживать.

Уже объевшись украденным у нас маслом и сахаром, они подзывают меня и показывают краюху серого хлеба, густо намазанную маслом (мечта каждого зеленого).

— Вкусно! Хочешь?— спрашивают они. Я стою, сжав кулаки, приготовившись к подвоху.

— На, откушай!— один из них, Шамов, берет кусок и старательно впечатывает его мне в лицо стороной, намазанной маслом.

— Жри. И пшел отсюда. Ишь, всю харю испачкал, грязнуля!— они довольно ржут. Я стираю с лица «угощение». Мне нельзя им ответить тем же. По крайней мере, сейчас. Если отвечу — мне выбьют зубы. А зубы мне еще пригодятся в будущем, потому что я не собираюсь заканчивать свою жизнь в этой клоаке.

Подобными «шутками» мальчики самоутверждаются, а заодно оправдываются перед собой за недавнее позорное падение перед ушедшими на дембель старослужащими. Ведь кто-то из них, будучи молодым, в ногах валялся. А теперь они понимают, что не все, оказывается, способны терять человеческий облик в угоду другим: о, как их это задевает, как принижает, и им непременно хочется вывалить непокорного в дерьме, сравнять с собой прежним.

После обеда старые ложатся спать, и происходит некоторый спад в «боевой и политической подготовке». Зеленые тихонько продолжают скоблить стекляшками пол. Перед отбоем наконец-то появляется ротный с сильно опухшей физиономией.

— Все переделать к ... матери!..— вякает он и убирается допивать. Зеленые начинают «все переделывать», тихо, безропотно и, конечно, без всякого энтузиазма, вода стекляшками лишь для видимости. Главное, чтоб их никто не бил.

«Черный выходной» для многих заканчивается в понедельник утром.

Ну а утро после «отбоя коечек» и туалета, как обычно, начинается с потешного игрища, называемого «утренним осмотром». Старослужащих осматривают, конечно, чисто символически. Если у дедушки обнаружится несвежий подворотничок, то по шее тут же схлопочет зеленый, ответственный за соблюдение его гигиены. Зато уж зеленого или молодого буквально вытряхнут из формы. А так как «молодежь» по неопытности носит с собой письма из дома, фотографии, а то и кусок хлеба припрячет в карман от постоянной голодухи, все это богатство выставляется на всеобщее обозрение. Особенно ценные по казарменным понятиям вещи (например, пачка сигарет) тут же конфискуются в фонд старослужащих, письма к превеликому

удовольствию последних зачитываются с увеселительным гоготом, тумаками и похабными комментариями. Хлеб или хлебные крошки вместе с мусором прилюдно заставляют сжевать их владельца.

Я с собой кроме записной книжки, ручки и военного билета почти ничего не носил. Так как хорошую ручку могут безоговорочно отобрать, перед осмотром я прятал ее в сапог. Конечно, зная такое обыкновение зеленых, их нередко особо ревностные любители и сапоги заставляют снимать. Но я никогда не попадался. У меня прямо-таки звериное чутье выработалось на предугадывание различного рода «шмонов», и когда нас собирались вытряхивать из сапог, я успевал спрятать нужные мне предметы под козырек шапки. Моя записная книжка — тайный дневник, сплошь исписанная мельчайшим почерком, долго служила предметом пристального внимания. Но как бы ее ни вертели и ни просматривали на свет, так ничего и не могли понять: все записи делались мной вперемешку на русском и английском с применением сокращений по собственной системе и кодировкой ключевых слов. Я объяснял, что пишу упражнения, чтоб не забыть здесь иностранный язык. Мне поверили.

В этих условиях каждый приспособляется, как может, применяя порой максимум изобретательности и изворотливости. К примеру, когда по бесноватому настроению казармы я предчувствовал, что назревает что-то нехорошее типа очередного сантренажа, я напрашивался на работу в штаб. Лучше поработать вечер и ночь, чем подвергаться унижению. Причем, приходилось врать, что ты мастер клеить обои, хотя раньше этим никогда не занимался, или неплохо чертишь несмотря на то, что твоим чертежным способностям ужаснулся бы малый ребенок. Разоблачение рано или поздно приходило, но требуемый результат достигался: ты выигрывал время и избегал больших неприятностей.

Баню я старался избегать под самыми разными предложениями, порой фантастическими, но выглядящими весьма правдоподобно. Дело в том, что баня — нечто вроде сантренажа, только еще хуже. Там практикуются специфические развлечения. Например, окатят из шланга ледяной водой или ткнут в лоб железным тазом. В бане ты должен обстирывать дедушек, тереть им спины, возиться с кипами грязного и свежего белья, заниматься уборкой, и при этом все время получать по голове. Причем, в большинстве случаев ты уходишь оттуда грязный, потому что вымыться тебе умышленно не дадут. Мытье — привилегия старых.

Порой перед баней я говорил сержанту, что командир части, полковник, вызвал меня перевести что-то с английского языка. Старые, конечно же, очень хотели бы знать, вру я или нет, но кто же осмелится выяснять это у самого полковника, известного своей свирепостью. Даже ротный не рискнет сунуться к нему без очень большой надобности. А я скрывался где-нибудь в подвалах штаба до вечерней поверки. Сам мылся позже холодной водой в туалете. Мои бедные менее изобретательные собратья возвращались из бани битые, доведенные до того крайнего состояния, когда и в самом деле не хочется жить.

Был среди наших один, по кличке Чиф. Костлявый, неказистый, широкоскулый и широкотазый, как женщина, с большими глазами и угловатыми костями наголо стриженного черепа. Имел высшее образование. Уронил он свою честь до самой последней стадии, да так, что ничем не поднимешь. Над ним издевался всякий, насколько только позволяла хищная

фантазия, даже молодой, и Чиф все безропотно терпел. Поначалу у меня с ним были нормальные отношения, но, посмотрев, до чего же он не уважает себя, до чего же страх затмил в нем нормальные человеческие чувства, я перестал с ним общаться. Он стал мне просто противен. Бывало вечером какой-нибудь дедушка скомандует:

— Чиф, сорок пять секунд, раздевайсь!

Чиф, путаясь в галифе, наспех сбрасывает с себя форму, кальсоны, рубашку и остается в чем мать родила.

— Надеть сапоги! Шаоммарш!..

Чиф, совершенно голый, без кальсон, в одних только сапогах шествует по пятидесятиметровому проходу казармы, от стены к стене.

— Строевым, шаоммарш!..

Чиф чеканит шаг, словно он в Москве на Красной площади, развевая вместо флага всеми своими мужскими достоинствами. Казарма, за исключением перепуганных зеленых, ржет вповалку. Где на воле еще такое увидишь, а тут на тебе, пожалуйста, похлеще фестиваля рок-музыки!.. Кто-нибудь во время его шествия обязательно к нему подбежит и даст пинка «для скорости», или придерется к тому, что он недостаточно высоко поднимает ногу и оттягивает руку. Под таким предлогом его могут гонять целый час.

— А ну, Чиф, стой, раз, два!— говорит, наконец, дедушка нехорошим голосом и делает престрашное лицо.— Покажи, как тебя служба задолбала.

Чиф хватает шапку, бросает ее на пол и начинает топтать, приговаривая невнятно:

— Задолбала меня служба, задолбала!

Но вот в расположение входит Князь, и Чиф вновь шествует строевым, держа равнение на него и отдавая честь. Князь, который нынче дежурный по роте, бьет его рукоятью штык-ножа по угловатому черепу, звероподобно заревев:

— Сколько мне раз тебе говорить, бестолочь, что к пустой башке рука не прикладывается!..

Концерты возобновляются методически, изо дня в день. Чиф прячется по разным углам и щелям, сколько может, но его непременно, как гадливого кота, извлекают наружу и живодерствуют над ним. Особенно мучителям доставляет удовольствие сознание того, что у Чифа высшее образование.

— Видите, чему их, тупиц, в институтах учат,— говорят они каждый раз.— Вот тебе и институт!..

А Князь после таких зрелищ любит пофилософствовать (он считает себя умным):

— Я всегда говорил,— обращается он к своим,— что армия — джунгли. И закон здесь один — закон джунглей. Выживает сильнейший.

Да, он прав. Для того, чтобы с достоинством выстоять в условиях дедовской казармы, надо быть либо физически сильнее многих, либо быть недюжинным психологом и иметь хорошее чутье на ситуацию, либо, если у тебя мало того и другого, постараться сочетать в скромно данных тебе природой качества все это одновременно. И незаурядным психологом здесь становился каждый. Главное – не бояться. Даже если страшно – не показывать страх. Хуже – не будет! – это убеждение стало для меня аксиомой.

Однажды, когда Князь находился в хорошем расположении духа и был доволен мной оттого, что я вовремя предупредил о приходе не желательного в тот момент ротного, я спросил его:

— А вы, товарищ сержант (какой этот волчара мне товарищ!), когда молодым были, что, тоже «стихи» читали?

— Я не то что читал, а орал, да так, что стены дрожали!— внезапно признается он. Слова его неожиданны для меня. Ведь для того, чтобы сознаться в былом падении, тоже надо иметь определенную смелость. На какой-то грамм я стал уважать Князя за его признание, хотя и был он извергом не меньше других. «А вы, как ни старались, так и не заставили меня развлекать вас погаными частушками!»— думаю я.

Впрочем, падение — понятие относительное. То, что мною воспринимается так, другие считают нормальным явлением. Тем и живут, потому и биты меньше. У каждого, видно, свои представления о нравственности и человеческом достоинстве, а я не берусь судить никого. Людям, которые остро чувствуют несправедливость, горды, самолюбивы, непреклонны, тяжело, очень тяжело.

ПОДЛЕСТНИЧНЫЙ «БУНКЕР»

В штабе полка начался частичный ремонт, и теперь мы не вылезали оттуда ни днем, ни ночью. Работали бывало по двадцать четыре часа кряду, чтоб передохнуть часов пять-шесть, и опять запрячься на очередные сутки. Практического смысла, конечно, в том никакого не было. Обычная схема: полковник приказывает оштукатурить стены, выбелить потолок и покрасить пол в том и в другом кабинете к завтрашнему утру. Почему к завтрашнему, он, наверное, и сам не знает. Реальность задания, необходимое количество людей — до такой дребедени, естественно, никто не снисходит. Солдаты добросовестно пашут, совершая чудеса находчивости и профессионализма. И вот к утру все готово, хотя вчера задание казалось невероятным. А полковник вспомнит про кабинеты через неделю.

Сержанты в учебке научили меня вообще не спать, и их «воспитание» здесь очень помогло. Главное, преодолеть психологический барьер, внушить себе, что сон тебе не нужен. Тяжеловато только в ночное время, тут приходится постоянно себя принуждать. Но работа в любом случае не даст уснуть. А под утро, в обычный час подъема, сонливость из-за привычки организма просыпаться к определенному времени, проходит, и даже остается такое ощущение, что ты ночью вполне сносно дремал. Впрочем, часа через три ты опять начинаешь ощущать несвежесть в голове, но она вполне преодолима. Вторую и все последующие бессонные ночи проводить каждый раз тяжелее, но можно. Организм кое-как успевает приспособиться. Просто ночью ты двигаешься медленнее, соображаешь туго, ты вял, и за счет этой инерции умудряешься немного отдохнуть.

Старики, с которыми я был в нормальных отношениях, говорили, что мы угодили в аврал, который здесь любят практиковать, что дней через десять-пятнадцать все кончится и пойдет обычной колеей. Подобные авралы тяжелы тем, что в них наряду с поставленной задачей параллельно приходится

«тащить» и обычную «службу», которую никто не отменяет, то есть убирать территорию, чистить полы, а главное, обслуживать стариков, их прихоти и выполнять часть определенной им работы.

Не все деды изверги. Вот Болтуть, например. Парень из простой рабочей семьи, сам плотник. С выцветшими бесформенными усиками, среднего роста, неприметной внешности. Он никогда не оскорбит, не подсунет стирать свою форму, хотя, пользуясь системой, мог бы, причем, без всяких усилий. Он видит во мне человека. Помню молчаливо протянутую мне корку ржаного хлеба, когда мы, в мороз и буран, утопая по уши в снегу, ставили в безбрежной белой целине палатки для офицеров. Благодаря таким людям жизнь не кажется такой безнадежной и ближе горит далекий маяк жизни иной. Болтуть не принимает участия в кутежах Князя, Шамова, латыша и других, не лакомится содержимым присланных им или украденных у молодых посылок, хотя они его, как своего, и приглашают.

— Почему?— спросил я его как-то.

— Не хочу,— коротко ответил он.— Не уважаю их, вот и все.

Но таких, как Болтуть, немного. Мы по-прежнему остаемся низшей категорией рабочего быдла — рабами рабов.

В подвальном этаже штаба есть несколько каменных мешков, именуемых каптерками, а по существу служащих крошечными столярными и слесарными мастерскими и хранилищами разного строительного хлама. Их разобрали ответственные за них деды. Они представляют надежные убежища от превратностей службы. Самую теплую и большую каптерку прибрал к рукам крутой хорек Шамов, и никого не пускал туда (кроме своих, да и то изредка). Он беспощадно гонял каждого, кто просился хоть на минутку согреться с мороза. Он не позволял даже оставлять там на время шинель тем, кто шел «на заготовку», то есть в столовую, чтоб собрать стол для подразделения (в шинели идти туда воспрещалось, а в казарме и любом другом месте ее бы моментально украли). Приходилось выкручиваться.

— Ну, не хочешь больше пива?— спрашивал Шамов, имея в виду зверские удары в печень и почки, от которых я отходил неделю.— Тогда будешь сейчас шуршать.

Пятеро дедов расселись в шамовской каптерке на верстаках и табуретах, а я, низший изгой, был предоставлен в их полномочное распоряжение.

— Замотай медный лист в рулон!— приказывает Шамов. Толстый трехметровый лист не слушается, постоянно стремясь развернуться. Его бы придержать за край кому-нибудь. Но помощи ждать неоткуда. Они умышленно не помогают.

— Ты что, сука, столько возишься?! На-ка!— Шамов ударяет меня ногой в согнутую спину. Развалившиеся поудобнее деды одобрительно наблюдают за его действиями. Я смотрю на него с ненавистью, которую он замечает. Но он понимает, что ничем, кроме ненависти, я отплатить ему не могу, и скрытая плотоядная улыбочка змеится в уголках его рта.

— Что, сука, не доволен еще?!— зыркает он.— А теперь переставь ящик вот сюда.

Огромный металлический ящик столь тяжел, что с первой попытки я даже не могу сдвинуть его с места.

— Помогите кто-нибудь,— прошу я.

— На!— следует удар в голову, «выписанный» латышом.— Ну как, еще помочь?..

Совершая нечеловеческие усилия, рывками, рывок за рывком я медленно сдвигаю ящик.

— Вот видишь,— довольно говорит Шамов.— Можешь, оказывается.

Я продолжаю работать, с равнодушием воспринимая побои, ибо я уже в другом мире — мире будущего. «Это не вечно,— говорю я себе.— Ничто не пройдет зря. Они расплатятся за все». Мысль о том, что я обязательно отомщу им, придает сил. Мысль о неминуемом возмездии, которое ждет их.

Когда шмон в шамовской каптерке наведен, у Шамова появляется настроение поболтать по душам. Но у меня нет такого настроения, потому что я его с подельниками ненавижу. Как ненавидят еще около двух десятков зеленых и молодых.

Солдаты в среднем за два года стреляют из автоматов всего два раза — летом и зимой, и дается им по несколько патронов. В том состоит их «учеба» в среднестатистической армии. Солдаты в здешних, между прочим, отнюдь не строительных, а числящихся мотострелковыми частях, стреляют еще реже. Оружие выдавать боятся, потому что ясно, против кого оно будет обращено.

Итак, начинались авралы или кончались, основные обязанности оставались прежними. Взвод должен обслуживать штаб, а зеленые еще плюс ко всему — стариков. В нашем взводе числился уже знакомый князевский «денщик» Балковой, фамилию которого, как я упоминал, тут же переименовали и называли теперь Полковым. Как только он попал из учебки сюда, в Черные Кольцы, лычки он сразу же содрал, оставшись в погонах рядового. Так поступали здесь все вновь прибывшие сержанты, кроме старых. Какой же сержант вытерпит такой стыд, когда им понукает любой рядовой из прослуживших на полгода больше. Лычки ничего не дают, кроме лишнего повода поиздеваться. Даже если ротный назначит его на должность заместителя командира взвода, фактическим главарем будет лидер из старослужащих, а «начальника» загоняют до позеленения.

Полковой был долговяз, неуклюж, не шибко умен и вечно с превеликим усердием драил шваброй этажи, даже если все давно блестело и сияло. Я удивлялся такому его усердию, полагая, что это врожденное его трудолюбие. Насмешки он не всегда понимал и постоянно служил целью для них. Надо мной не потешались, как над ним, но работать нас заставляли одинаково — нещадно, как и положено изгоям.

Очередной аврал, наконец-то, спал. Поднимались мы уже, как обычно, в половине седьмого утра, чистили территорию от снега, заготавливали завтрак, работали на стариков. Постепенно те прятались по каптеркам, стремясь понадежнее ускользнуть от внимания офицеров. Контроль за нами также падал. Можно было заняться и вольной работой. Дело в том, что без дела солдату находиться нельзя. Солдат обязан вкалывать. Если работы совсем нет, то он должен хоть лбом о стенку биться, но что-то делать, или хотя бы имитировать трудовую деятельность. То есть один из самых основательных неписаных законов армии. Преступающий его, тем более зеленый, уличенный

в безделье, хотя бы и вынужденном, понесет суровую кару.

Когда напряжение в заданиях сошло до минимума, я попробовал поработать вместе с Полковым, и тут-то сразу понял причину его мнимого трудолюбия. Оказывается, у Полкового тоже было свое логово, где он прятался от службы. У старых убежищами, как я уже говорил, служили каптерки, а у Полкового — место под подвальной лестницей. Стерев тряпкой следы в вестибюле штаба за очередным зашедшим туда офицером, Полковой забирался под грязную лестницу и ложился на две большие отопительные трубы, ржавые и пыльные. Никто и не догадывался о его потаенном бункере. Но стоило кому-нибудь прокричать его фамилию — а все были убеждены, что он где-то в данный момент драит этажи — как он хватал для алиби швабру, выскакивал из бункера и шел с нею на зов. «Совсем не плохо устроился,— решил я.— В этих условиях идеальный вариант, чтобы не замели старые».

Несколько дней подряд мы занимались вместе любимым делом Полкового, тем более нас официально назначили уборщиками штаба. Самая лучшая уборщица на гражданке моет полы в пять раз хуже любого солдатского подметалы, потому что она никогда в жизни ни от кого не «получала в лобешник» за свой труд.

Следы за офицерами мы ходили затирать по очереди, причем моментально, едва заслышав стук закрывающейся двери. В обед, когда все куда-нибудь растворялись, умудрялись натибрить «хапчиков» из пепельниц в кабинетах и курили.

Однажды днем для проверки нашей воинской деятельности явился ротный. Он энергично и быстро осматривал кабинеты, делая на ходу замечания, и столкнулся нос к носу с молодой бабенкой из вольнонаемных, с той, за которую я когда-то печатал на машинке.

— Они у нас в тылу³ никогда не моют!— не преминула бойко пожаловаться она, пользуясь случаем, хоть и привирала изрядно.

«Снимет ротный с лафовой работы»,— тут же автоматически мелькнула мысль.

— А вы поменьше грязь разводите, да посуду после своих чаев мойте!— вдруг рявкнул на нее ротный. Бабенка тут же, как мышь, зашмыгнула обратно в кабинет. А ротный громко, чтоб ей было слышно, продолжил: — Сидят там, сраку лень отодрать с места — все за них «бойцы сделайте». Обнаглели!..

Ротный ушел. Мы остались при должности.

К сожалению, швабра, которая в твоих руках как бы служила доказательством занятости, была всего-навсего одна, и Полковой, как более высший изгой, чем я, всегда хватал ее первым, а я оставался без оной, и потому рисковал быть уличенным в филонстве.

Но что ни говори, а бункер был удобен и замечателен. Именно он не раз спасал меня от «сантренажа» и прочего измывательства. Кроме Полкового и меня о нем никто даже не подозревал. Главное, никому и в голову не приходило заглянуть в подлестничный закуток. Если нас разыскивали, находясь поблизости, мы никогда оттуда не выскакивали, чтобы не раскрыть слишком дорогой для нас секрет.

Несколько позже, правда, наши удобства основательно подпортили, потому что прямо с лестницы кто-то стал справлять малую нужду. Это делали и

³ кабинет заместителя командира части по тылу (прим. автора).

солдаты, и офицеры, которым было лень дойти до туалета. Мы были вынуждены молча, дабы не быть разоблаченными, взирать на то, как в полуметре от нас низвергаются струи парной мочи чуть нам не на головы. Слава богу, никто не догадался устроить тут чего потяжелее.

Кроме всего прочего, благодаря бункеру, мы стали невольными свидетелями различных тайных разговоров, и знали, чем объясняются те или иные перемещения офицеров по службе, а также какие изменения предвидятся в нашей солдатской доле в недалеком будущем.

Но однажды Полковой удивил меня еще больше, чем своим усердием со шваброй. Как-то я заглянул в бункер с мороза. Полковой развалился на трубах отопления и полностью занимал их.

— Подвинься немножко,— попросил я, чтоб прислониться с краю спиной и согреться. Полковому нужно было только согнуть чуть ноги в коленях. — С... отсюда!— процедил Полковой.

— Да я ведь тебе не помешаю!..

— Смотрал отсюда!— повторил он с тупым упорством животного. Его выпад был неожиданным. Я полагал, наш общий остракизм должен сблизить нас, сделать людьми хотя бы между собой. Но я не учел одного: Полковой все это время очень хорошо помнил о том, что он молодой, а я всего-навсего зеленый. Значит, он имеет больше прав ухватить из того ничтожного блага, что есть. Он отлично воспринял философию джунглей: урви для себя все, что можешь, любой ценой, не считаясь ни с чем; оттолкни каждого, за чьей спиной не чувствуешь силы.

— Ты хуже дерьма, которое сыплется здесь нам на головы!— сказал я. Полковой не возражал. Он по-прежнему грелся на отопительных трубах.

Я покинул укрытие и тут же был схвачен стариками, которые уволокли меня на расправу. В конце концов я вынужден был вернуться в пропахший мочой и харкотиной бункер, как бы противно мне это ни было из-за присутствующего там Полкового.

У Полкового, наверное, проснулась совесть, и он решил как-то исправиться передо мной за возникший конфликт. Видя то, что мне в столовой не досталось мяса, он протянул мне обглоданное им сухожилие из своей миски. Он сделал это совершенно искренне, не желая меня обидеть, стремясь как-то загладить свою недавнюю вину.

РУСТАМ

Жизнь в мотострелковом полку, расположенном в забытых Богом Черных Кольцах, идет по-прежнему. О том, что это армия, напоминает лишь цвет хаки. Все остальное очень смахивает на колонию пауков, существующих по своим паучьим правилам.

Разнузданное зверотворчество дедов неумолимо. Наведет, например, «молодежь» в казарме блеск, а минут за пять до прихода ротного какой-нибудь особо ядовитый дедушка изловит зеленого и велит ему в тайне от всех сходить до выгребной ямы, набрать целое ведро помоев и потихоньку вылить посреди

сияющего чистотой туалета. Значит, чтобы суровее служба была, и чтоб вечером «сантренаж» гарантировался. Или шуршат зеленые с тряпками поутру, а пара зловредных черпаков ходит и умышленно сорит пепел, бросает окурки, мнется на кроватях, чтоб было за что раздавать тумачи, а то ведь совсем без причины вроде как неловко.

Еще в казарме есть одно интересное табу для зеленых: им запрещается смотреть телевизор. Телевизор покоится у нас на кронштейнах, прикрепленных к стене; к ним он намертво приварен, иначе его давно бы открутили. Если зеленый даже мельком, на ходу, засмотрится на экран, его ждет подзатыльник.

Когда ударили тридцатипятиградусные морозы, и в казарме стояло восемьдесят градусов тепла, спать под тоненьким, выданным на круглый год одеялом стало невозможным. Но дедушки, конечно же, жируют под двумя, а то и тремя шинелями, отобранными у зеленых и молодых, а «молодежь» трясется всю ночь, не попадая зубом на зуб, под чисто символической накидкой, обмотав головы полотенцами.

Бывало еще, среди ночи поднимут музыканта-самородка из наших с голосом редким, диковинным, и погонят его ударами сапожищ на «трон» к дедам — развлекай, скучно им, сволочам. А парень поет под гитару, да так, что заслушаешься, так, что сердце защежит от боли. И думаешь: «Для кого же ты поешь, Орфей, вот для этих, что тебя сапожищем?.. Да и как они могут внимать этому высокому полету души человеческой после того, как притащили тебя сюда за ошорок, словно скотину самую последнюю!..»

Горько и досадно было мне оттого, что они, нравственно убогие, так расправляются с творцом искусства и не чувствуют ни малейших угрызений совести. Певец тот не выдержал потом, отрубил себе топором палец, чтоб списали. Сказал, конечно, что случайно, а то угодил бы под статью о членовредительстве. Но его не списали. После госпиталя его выпихнули в стройбат.

Много разного самодурства творится в казарме. Да лучше о нем никогда не вспоминать. Тошно становится от таких воспоминаний. Порой диву даешься: откуда берется то бесстыжее, что прет из двадцатилетнего парня, словно из оборотня. Думал с надеждой иногда: может, есть край падения этого?.. Был край: обычный страх за собственную шкуру. Последний оставшийся тормоз...

Спросил как-то у Палачова, который до призыва успел год посидеть в местах заключения, залетев за какую-то подростковую дурость:

— На зоне много хуже?

Думалось, есть где-то места, где еще хуже, чем здесь, и есть там люди, которые как-то выживают; значит, можно выжить и при дедовщине, ибо тут полбеда.

— Да, на зоне не сахар,— сказал он и, глубоко задумавшись, словно окидывая взглядом когда-то пережитое, добавил неожиданно.— А вот если бы сказали сейчас, куда пойдешь, в армию или на зону, так я бы на зону пошел. Где я сидел, там такого не было. Ничего хуже дедовщины не видел.

У многих дедушек, у латыша в том числе, есть свое любимое развлечение, хобби. Заарканит латыш нескольких зеленых, отведет в какое-нибудь темное место и заставит отжиматься:

— Лэць, встать!.. Лэць, встать!..

Причем, командует он все быстрее и быстрее, и не успевают еще зеленые броситься на пол, как уже слышится: «Встать!» А то вдруг латышу такой темп наскучит, и он начинает затягивать команду с подъемом. У многих тогда прогибаются спины от перенапряжения, но их тут же настигает медная бляха. «Арийский» акцент латыша вызывает в памяти черно-белые фильмы об эсэсовцах, жгущих белорусские села вместе с людьми и бесчинствующими на оккупированной территории.

— Сута!— командует он, завидев меня. Я прохожу мимо, окинув его презрительным взглядом, давая понять, что для меня он никто. Он хватается за рукав. Руку я отдергиваю. Среди зеленых, которые стоят на полу на руках с вытянутыми в струнку спинами и носками ног, начинается шевеление. Латыш хватается за ремень и ходит пряжкой по их спинам:

— Команта шефелиться не пыло!!

Зеленые продолжают изнемогать в своих неестественных позах.

— Ты што, не хочешь атшиматься?!

— Сам отжимайся, сволочь!!— почти выплевываю ему в лицо.

— Старики, черпаки, тут сука, чмо атшиматься не хочет!— визжит во все горло латыш. В ту же секунду сбегается более десятка старых. Они смотрят на меня, как на что-то экзотическое, еще не успевая придумать, что они сейчас со мной сделают.

— Вот что,— опережает Князь, который в глубине души не слишком расположен к латышу, но вынужден считаться с ним как с состайником.— Даю тебе шанс. Поднимешь гирию жопой кверху — будешь свободен и будешь жить. Только сегодня, конечно. А нет — пеняй на себя. Пожалеешь, что мать родила.

Князь имеет в виду старинный финский двухпудовик в форме параллелепипеда. Он считается очень неудобным. А мне, напротив, кажется, что двухпудовик компактнее и лучше отечественного, похожего на большой футбольный мяч с ручкой. Гирию я отжимаю так, как просит Князь. Тот не может скрыть своего удивления.

— Хм, странно. А я думал, только я ее поднимаю. Старики озадачены. У них нет никакого желания отпускать меня просто так. Задумывается и Князь. Слишком, получается, легко я отделался, а всыпать мне надо!

— Вот что,— наконец, находит он соломоново решение.— Повтори то же самое, только левой рукой. Мы же не договаривались, какой рукой поднимать, так что все честно.

Князь попадает в точку. И дергаться не стоит. Но я все-таки предпринимаю попытку. Напрасно.

— Вот как это делается! — полный гордости за чуть было не пошатнувшийся авторитет говорит Князь и выжимает гирию левой рукой нижней частью вверх несколько раз.— Ну, так что мы будем делать с этим чмом?..

И тут появляется старослужащий сержант из санчасти.

— Слышь, Князь,— хлопает он его по плечу,— отдай-ка этого духа мне до проверки. У вас все равно он под койками ползать будет, да пыль на себя наматывать, а у меня работы позарез.

— Забирай хоть на всю ночь!

Старики удовлетворены. Зеленые мне не завидуют. Я понуро, как раб с отрезанным языком, бреду за сержантом.

В санчасти сержант указывает на дверь небольшого спального помещения для медперсонала:

— Заходи.

В его голосе нет уже ставшей совершенно привычной для нашего уха злобы, более того, тон его бескорыстно-доброжелателен. В некоторой растерянности отворяю я дверь и вижу Рустама — высокого, стройного, в обычном своем ПШ. Он, радостно сделав ко мне широкий шаг, протягивает руку и благодарит уходящего по коридору сержанта:

— Спасибо, Саша!

— Не стоит!— отвечает тот.

Я слышу их слова и чувствую, что попадаю совсем в иную жизнь, где нет ни зеленых, ни дедов, ни низших, ни высших. Это он, Рустам, зная, что всех нас ждет в казарме, попросил сержанта санчасти вызволить меня из беды, что так пришлось кстати. Мы долго трясем друг другу руки — мы так давно не виделись!

— Отдыхай, угощайся,— он высыпает из кулька на стол забытое лакомство — простенькие конфеты без фантиков. Я сетую ему на дикости, ежеминутно происходящие в роте.

— Людьми здесь движет то же, что и животными — страх, эгоизм, голод, ненависть, жадность... И подличали бы по-крупному! А то ведь за кусок сахара... Смотреть противно. Удивляюсь, откуда же берется в человеке скотство!

— Скотство в нем было всегда и будет,— заверяет Рустам.— Просто прорастает оно в благоприятных для него условиях. Трудно свернуть эту систему... В любом случае должны действовать борцы. Вот я по натуре не борец. Конечно, зеленые те же люди, которые руководствуются шестью чувствами. Работают на дедов, потому что так спокойнее, безопаснее. Никто не воспротивится, не взбунтуется. Думает про себя каждый: пройдет все и забудется, как кошмар, не так уж, в принципе, и долго, всего-то два года. На том система и стоит... Вот и ты рассказываешь о вашем беспределе уже, кажется, спокойно, без отчаяния.

— Я тоже начинаю привыкать.

— Видел сегодня в столовой тебя и Князя вашего. Ты его старше, но лицо у тебя юное, возвышенное какое-то. А его лицо — тупое, устоявшееся. Просто удивительно, как дух откладывает отпечаток на внешний облик,— Рустам задумывается, заваривая чай, и продолжает.— Ты знаешь, вот гляжу я на нас с тобой и размышляю, какая же у нас двоих, во многом близких людей, разная судьба. Но помни: в том особый знак. Ты должен перенести и познать здесь то, что не познал я. Терзания твои станут твоей силой. Сколько понесешь ты потерь, столько потом обретешь.

Постарайся понять, что управляет людьми, не только этими, всеми: удовольствие и боль, плюс и минус. И я был таким, пока год назад один друг мой не дал мне антологию индийских философий.

— Завидую тебе, Рустам. Ты в бога веришь, ты идеалист. А я в бога не верю. Людям же здесь никто не верит, тем более. Даже самые наивные давно усвоили: хочешь выжить — никогда никому не верь. Жутко. А еще более

жутко то, что здесь это единственно верная позиция. Но ведь надо же за что-то держаться и святое...

— У меня, конечно, совсем другая жизнь. И близко того нет, что творится в вашей казарме. Но я здесь в заточении, как и все. И знаешь, странно, но именно здесь стал чувствовать я те сотни нитей, которые тянутся к друзьям, к прежнему, к дому — раньше этого никогда не ощущал... Движущая сила человеческого развития — стремление, желание. И в этом — радость жизни. Но у нас, наоборот, каждое желание лишь остро ранит душу. Вот где полигон испытаний. Некоторые философы древней Индии предпочитали уединяться и годы проводили в пещере для самопознания и постижения единения с другими. Запомни: ты должен черпать возможность самосовершенствования уже в том, что у тебя отняли всякую возможность самосовершенствования — время, свободу, веру. Но душу твою у тебя не отняли. Ищи и размышляй. И ты выдержишь.

Я уйду от друга своего Рустама, воспрянув духом. Слово «благодарность» слишком ничтожно, чтоб отразить то, чем я ему обязан.

ЛОШАРА

Про начальника гарнизонной гауптвахты майора Лошару ходили разные страшные слухи, впрочем, как и про порядки, которые он установил. Поэтому «гауптической вахты», как ее называли шутливо и вместе с тем опасно, боялись у нас панически. Я долгое время не видел этого самого Лошару, да и где расположена гауптвахта, имел смутное представление, что не удивительно: частей вокруг Черных Колец разбросано множество. Кроме того, на одной из окраин Колец стоял гигантский пересыльный пункт, через который проходили призывники со всей страны.

Жестокость в армейской жизни казалась мне неоправданной. Но, вероятно, командиры считали по-другому, да я и не был на их месте. К террору, психологическому и физическому, наиболее простому средству в достижении цели, обращались привычно.

О гауптвахте мне до сих пор приходилось судить косвенно, в основном по рассказам. Пребывание на нашей «губе» оставляло впечатление «неизгладимое» у каждого, кто через нее прошел.

Про начальника Лошару солдаты знали все, даже его рост — два метра восемь сантиметров, не говоря уже о его повадках, насколько я догадывался, совершенно диких и непредсказуемых. Чья-то расчетливая воля откопала этот феноменальный по злобности и физическим данным экземпляр среди плодов неумолимого генного творчества матушки-природы и посадила как раз на то место, для которого он словно бы и был специально создан. И экземпляр этот получил здесь полную свободу самовыражения.

Говорили, Лошара велит зимой в камеры подливать на пол холодную воду. Сажает за малейшую провинность. Ничем не кормит и никуда не сообщает, пока в части не спохватятся. За незастегнутый крючок на хэбэ — пять суток, опущенный ремень — десять. Но это так, всего лишь зацепка. А на «губе» тебе могут сутки добавлять и добавлять. Посмотрел косо — получи

еще пять. Кашлянул или замешкался — то же самое. Если Лошара увидит, что посыльный идет шагом (за день так набегаясь по громадным территориям частей, что ноги еле волочишь), тут же помещает на гауптвахту. Очень любит Лошара брить наголо. Было время, отлавливал — и под машинку. А не дай бог бритый, то есть уже когда-то провинившийся, попадется. Такого прикажет раздеть до нижнего белья и на мороз выставляет. Несколько человек из нашего полка вот так воспаление легких схватили. Офицерам — усы сбивает. Нередко под горячую руку попадались и гражданские ребята из поселка, их Лошара за дезертиров принимал. Десятка полтора, как баранов, остриг.

Зачастую и патруль, если не проявляет достаточной жестокости, в мгновение ока становится на место арестантов, благо, далеко ходить не надо. Не церемонится Лошара и с отпускниками. Приходит рейсовый автобус, он у отпускников приказывает отобрать чемоданы и вытряхнуть их содержимое на землю или снег. А иногда просто отбирает вещи без проверки, формально придравшись к чему-нибудь, и они исчезают бесследно. Заикнуться боятся: от Лошары лучше держаться подальше.

Говорят, в Лошару стреляли два раза из автомата, да промахнулись: далеко было.

С майором Лошарой случай свел меня познакомиться поближе, и тогда я понял, что все услышанное о нем — не враки.

Нас с Лариком впервые поставили в наряд по КПП пересыльного пункта. Вот тогда мы за долгие дни наконец-то увидели поселок Черные Кольцы. Поселок всегда находился рядом, но мы не имели возможности взглянуть на него. Он был недоступен, почти мифичен, ведь жизнь здесь шла «гражданская», уж, казалось, забытая навеки, которой мы как будто были не достойны (а мы давно стали ощущать некую свою неполноценность, словно провинились за что-то; наверное, на уровне подсознания мы оценивали «гражданских» не иначе, как господ, белую кость).

Поселок оказался холмистым, утопающим в соснах. Стоило вообразить на секунду немыслимое — что мы не люди подневольные, и подобно морозной паутинке на стекле разрастался в мечтах рисунок бытия иного, где-то даже феерического, а пейзаж располагал к этому.

Странно, высоченным и степенным соснам, поселковой тишине и размеренности были так неведомы, мягко выражаясь, неудобства, которыми жили вокруг десятки тысяч людей в буро-зеленой форме, так что казалось, ни солдат, ни зон с КПП и заборами не существует. Обманчивое ощущение. О том, что здесь расположена масса людей, лишь внешне походящая на военных, напоминало множество деталей. Оружие солдатам доверялось крайне редко, и они не умели им как следует пользоваться. Мелькает лишь защитный цвет, да иногда, словно проснувшись, фырчит по извилистым улочкам одинокий БТР.

В наряд нас послали вместе с Лариком, и это было необычным везением: во-первых, мы честно распределили свои обязанности; во-вторых, нас по-серьезному не мог «припахать» ни один дед, ведь КПП на виду. Но если бы напарника направили из другого призыва, наряд стал бы кошмаром. Пришлось бы работать и за себя, и «за того парня», как пелось в когда-то известной песне.

На противоположной стороне поселковой улицы, примерно метрах в тридцати от КПП, находилась гарнизонная гауптвахта — двухэтажное кубическое здание из застарелого потемневшего кирпича с окнами, забранными решетками. Архитектурными излишествами казенный дом не страдал, если не считать двойной ряд колючей проволоки на верху примыкающего каменного забора; проволока, кстати, была под электрическим напряжением. А прямо, почти напротив КПП, располагалась одноэтажная столовая с буфетом для офицеров.

В столовой возникла временная необходимость в рабсиле, и по этому поводу к прапорщику Полищуку, дежурившему с нами по КПП, обратилась заведующая. Он отправил нас с Лариком, тем более в части в связи с предобеденным часом возникло затишье, и особой необходимости в постоянном нашем нахождении на посту не ощущалось.

Мы перетаскали ящики с пивом, колбасу, сделали кой-какую перестановку. Какую-то часть колбасы списали, что называется, на «усушку-утруску», и мы ее также с ведома заведующей старательно затащили с черного хода в машину одного из прапорщиков-снабженцев. После, выделив закуток на кухне, заведующая накормила нас отменным обедом.

— Видимо, они считают это тяжелой работой, — говорил Ларик, уплетая не слишком-то для нас знакомую и по гражданской жизни солянку с ветчиной, — видишь, какая благодарность. Знали бы они, как нам на самом деле приходится вкалывать и что за это получать... А прапорщики-то приворовывают, — вспомнил Ларик про «усушку».

— Порода такая специфическая, — жевал я макароны в подливке. — Вот говорят, нейтронная бомба убивает людей, сохраняя при этом материальные ценности. А если бы во вражеское государство вместо нейтронной бомбы запустить полк прапорщиков, то вышло бы наоборот: люди будут живы, а материальных ценностей — никаких.

Смеемся. Прапорщики — любимый объект армейских анекдотов.

Наконец, нам приходится с большой неохотой покидать офицерский буфет. Жаль, очень жаль, что больше для нас здесь работы нет.

После обеда наступает моя очередь быть халдеем на воротах КПП. Пришла машина — открываю их, ушла — закрываю. Дежурный прапорщик Полищук отправился в буфет пиво пить. Документы у старших по машинам, как правило, отсутствуют, и правомерен выезд или нет, определить невозможно. Так здесь организовано дело. Остается одно: подобно оловянному истукану туда-сюда скрипеть воротами. Лучше бы вообще открыть их настежь — какая разница! Но так, конечно, нельзя. Я должен исполнять эту обязанность — бессмысленно скрипеть воротами. Ну да еще офицерам честь отдавать, расшаркиваться. За первые двадцать минут халдейства я перевариваю начальную дозу легких издевок и подтруниваний и потому уже не замечаю их.

Между тем на небольшом плацу рядом с комендатурой и гауптвахтой выстраивают арестованных; среди них есть и «мариманы» (речной флот) — на удивление низкорослые, хлипкие ребяташки. Они неуклюже шлепают воображаемым строевым по воображаемому квадрату под присмотром разводного с автоматом наперевес. Черные шинели свисают с их худеньких плеч, и полы раздувает пронизывающий, но уже не ледяной ветер конца февраля. Отдельно от «мариманов», одетый в одно лишь хэбэ, на отрезке метров в семь, ходит, чеканя шаг, щуплый солдатик. Ходит давно, часа уж два

без передыху.

Рядом спешат по своим делам жители поселка. Мужчины хмурятся, желая поскорее проскочить это место. Женщины недоуменно жмут плечами и с любопытством замедляют шаг. Подростки, которым еще неведом ни один удар судьбы, посмеиваются. Происходящее представляется им веселым концертом. Арестованных они, конечно же, считают за дураков. Подростки хихикают и показывают языки.

Концерт продолжается долго. Наконец, из здания комендатуры вышел мужчина громадного роста, комплекции Геркулеса. На нем были кожаные сапоги с короткими голенищами, физкультурные трико, сквозь которые выпирали футбольными мячами могучие икры. О том, что это военный, свидетельствовал лишь наполовину расстегнутый камуфлированный бушлат с майорскими погонами, под которым была одна тельняшка. Весь вид его говорил, что он глубоко презирает всякие законы, что здесь он — Закон. Широко расставив лошадиные ляжки и зажав позади руки замком, некоторое время он наблюдал за шагающими. Затем резкой командой остановил их пальцем, поманил отдельно ходящего тщедушного солдата с бритой маленькой головой.

— Почему плохо шевелишься?— спросил он и, не дожидаясь, естественно, ответа, двумя пальцами взял его за ворот хэбэ, да потряхнул так, что тот чуть не вывалился из одежды. По-прежнему держа его двумя пальцами за шиворот, он перехватился покрепче и одним красивым движением отбросил солдата на место прежней экзекуции.

— А-амм-арш!!!— гавкнул майор так, что с вершин ближайших тополей немедленно облетели все призадумавшиеся вороны.

Я был свидетелем того, как бедолага угодил на «губу». Перед обедом нелегкая угораздила его проходить мимо, и метров за пятнадцать-двадцать он не счел нужным отдать честь майору, стоящему к нему боком. Естественно, «преступник» был тут же обезврежен.

Истуканом продолжал стоять я на воротах. Я отворил их для машины, груженной кирпичом. И тут вдруг взгляд Лошары упал на меня. Исподволь он поманил меня указательным палец правой руки.

— Иди сюда! Беомм!

Три месяца с лишним, как и над другими зелеными, издевались надо мной старики, и три месяца я боролся с ними доступными мне средствами. Горбалы пытались сделать из меня скотину, и я дрался с ним. Старики желали превратить нас в личный скот, и мы открыто или исподтишка вредили им, как только могли. А сейчас я побежал, не задумываясь, и довольно-таки резво. Слегка приспущенное тупое дуло автомата разводного с подстегнутым магазином, заряженным боевыми, смотрело в мою сторону...

— Кто такой?..— на меня с высоты двух с лишним метров впилась глаза красномордого, пьяного, хохочущего, упивающегося от наслаждения своей дикой властью майора. Наверное, я хорошо побежал, ведь мне не хотелось находиться под дулом, тем более ни за что. Я слишком наглядно ощутил здесь простейшую ситуацию: стоит стать арестованным, и в тебя теоретически разрешено будет выстрелить в случае неповиновения. Неповиновение же определяется точкой зрения начальника гауптвахты Лошары, а она, как бы попроще выразиться, труднодоступна для понимания неопытного солдата.

Я подбежал к этому двуглазому циклопу, мучимый терзанием из-за того, что тем самым пресмыкаюсь перед ним, а именно пресмыкательства и требовала его ненасытная натура.

«Не могут люди пользоваться властью»,— подумал я, чтоб как-то отвлечься. Моя оболочка стояла навтытяжку.

— Почему открываешь машинам всем подряд?!

— У старших нет документов. Офицеры приказывают — я открываю,— доложил я, словно по бумаге.

— Образование какое?— спросил Лошара (видно, я был слишком многословен).

— Неоконченное высшее.

— Ладно, иди,— совершенно внезапно смягчился Лошара. Я пошел обратно. Не знаю, что стало причиной его лояльности. То ли логика полученного ответа, то ли уставная деревянность поведения. Нет, я не чувствовал угрызений совести, что побежал по его команде, как подстегнутый. Просто мне почему-то стало противно, как если бы я объелся гнилыми грибами.

— Стоять!— раздалось позади, но уже не в мой адрес. Шкурой я чувствовал, что Лошара ударил кого-то и кто-то упал на мокрый асфальт (улицы вокруг комендатуры и гауптвахты вылизывались арестованными. Их обильно посыпали солью, и, несмотря на легкий мороз, на дороге образовались слякотные лужи).

Я не оглянулся. Лишь когда возвратился на пост, увидел, что Лошара продолжает муштровать арестованных. Особенно доставалось «мариманам» — на них ведь были ботинки. Их Лошара заставлял ступать в глубочайшую лужу, лишь слегка подернутую льдом. Лед ломался, и «мариманы» по колено тонули в холодной воде. Кого-то он одернул из толпы и, очевидно, встретил взгляд, полный ненависти.

— Эту пададь не кормить двое суток,— гаркнул майор подчиненным.— Увести. Если будешь плохо исполнять обязанности, сам пойдешь за ним,— пригрозил одному из автоматчиков. Наконец, он вспомнил про тщедушного солдата, не отдавшего честь; тот уже еле шевелил ногами от усталости, имитируя строевой шаг: четвертый час длилась экзекуция.

— Лечь!— скомандовал Лошара.— Ползи!

Солдатик не плотно прижимался к земле: как я уже упоминал, была слякоть. Холодная грязь впитывалась в одежду. Когда он дополз до большой лужи, то постарался обойти ее.

— Наверните!— приказал Лошара. Автоматчики ударами всею площадью подошв, а не краями каблуков, чтоб как-то смягчить эффект, втоптали его в землю и заставили ползти в ледяной луже, которая почти скрыла тело. Когда он выполз из нее, весь дрожа, Лошара скомандовал:

— Быстро смотал отсюда!

Содатик на удивление все быстро понял и сиганул, как заяц, несмотря на трехчасовые муки. Значит, ему повезло.

На КПП было не так уж и плохо, но соседство с гауптвахтой удручало. Невозможно было равнодушно смотреть на истязания арестованных. К тому же знал, что никакие они не преступники, а такие же люди, как и я. И тем более неприятной стала весть о том, что нас оставляют дежурить еще на сутки. Другие бы радовались — от роты отдушина. А я не радовался.

На вторые сутки Лошара, явившись на службу ближе к обеду, передал мне кулечек с лесными орешками, видимо, узрев во мне законопослушного человека, и велел отнести жене по указанному адресу.

В напряжении шел я по центральной улице Черных Колец. Хотя, спрашивается, почему в напряжении — ни один командир из окружающих частей хоть на два ранга выше Лошары не смел обидеть меня; в любом случае я бы вернулся к начальнику гауптвахты, а он меня, может быть, сильно и не тронул. Но этакое внезапно возникшее поверхностное расположение Лошары было мне не по душе.

Что же, где-то я его понимал. Его слишком многие ненавидели. А во мне он не встретил ничего похожего. Потому и поручил такое тонкое дело, одновременно делая тем самым поблажку от рутины.

Я шел. Улица кончилась, началась сопка, сплошь поросшая соснами. На вершине ее стоял единственный здесь пятиэтажный блочный дом с рядом кирпичных гаражей во дворе. На третьем этаже мне отворила дверь молодка лет двадцати трех-пяти, неяркая брюнетка чуть выше среднего роста. Она была скромна, на удивление симпатична и даже обаятельна. Видно было, она с ума сходила от скуки (здесь офицерские жены, как правило, не работают, развлечения отсутствуют, дети обычно либо младенцы, либо их вообще нет).

— Вы давно служите?— было спросила она этакую банальную чушь и встретила взгляд оловянного солдатика.

— Большое спасибо,— исправилась она. Я ушел.

— Ну и как у него жена?— допытывался Ларик.

— Да симпатичная девка...

— И ведь за таких выходят!— искренне удивился Ларик и призадумался.

Наш наряд кончился. Ларика отпустили вперед. Я отправился в роту несколько позже, нагруженный попутно стопкой выстиранных отутюженных портянок, не слишком большой, на уровне макушки головы.

Я уже миновал гауптвахту и готов был свернуть в сторону к своей части, как тут мне попался майор Перельман, заместитель командира полка по тылу. Если я вряд ли доставал Лошаре до носа, то Перельман точно не доставал до моего носа. Голос Перельмана был фальцетным и каким-то интеллигентским, а интеллигентов у нас за людей не считали. И наконец, если Лошара был профессионалом своего жестокого дела, то Перельман был обычным поганцем. Я не хотел отдавать ему честь (к тому же из-за стопки портянок это было явно затруднительно), и потому заблаговременно распределил свою нестройную ношу на обе руки.

—Стоять, гядовой!— посмотрел на меня Перельман мерзопакостно.— Пять суток агеста.

Я переминал портянки с руки на руку.

— Ваш военный билет, гядовой!— прогнусавил Перельман.

— Нет у меня военного билета, товарищ майор,— отрапортовал я, ощущая документ под сердцем.

— А вот мы сейчас посмотрим.

— А не посмотрите!— ответил я и спокойно пошел дальше. Перельман было ринулся за мной. Куда там! Его короткие ножки тут же провалились сквозь наст и утонули в снегу. А рядом — никого. А в частях тысячи «бойцов»,

меня среди них сроду не «вычислить».

Так я имел честь заодно еще познакомиться и с Перельманом. Правда, больше я его с тех пор никогда в жизни не видел. Но, как не трудно догадаться, это обстоятельство не причинило слишком серьезного ущерба моему духовному самосовершенствованию.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ

Ну вот и наступила ранняя, неожиданная оттепель. До весны рукой подать — всего десять дней. В перерыве между работой я вышел на улицу в одной гимнастерке. Было удивительно тепло той ночью. Присел на корточки и неожиданно для себя заметил, что курю не наспех, без вечного, в подсознании витавшего страха, отравленного удушливой, как фосген, горечью. Светила полная луна, такая яркая, что совсем отчетливо виднелись облака и серебрились сосны, а небо было небывалое, приятной темной синевы, с глубоким зеленым отливом. Такое небо я запомнил на этикетках шоколадок, которые мне дарили в детстве. Безмолвная глубина его вызвала давно забытое, острое чувство чего-то недостающего, почти тоску — но какую-то далекую, отстраненную, романтическую; такое чувство иногда посещало меня в детстве. А теперь осколок будущей весны разбудил его — значит, это небо было из моего детства, затерянное в нескончаемой, казалось когда-то, и давно минувшей череде наивных дней первооткрывателя. И еще в нем крылась бессознательная привязанность к матери — не теперешняя, а тогдашняя, детская, когда знаешь, что сейчас вернешься с гулянки, и дома тебя встретит мама, большая, ласковая и теплая, накормит, утрит, умоет...

Это была ночь из моего детства... Что она хотела от меня?..

Давно минувшие образы плавно скользили в памяти, и я наталкивался в них на удивительные находки. Те воспоминания никогда не приходили ко мне раньше; казалось, они вычеркнуты навечно, их просто нет. Но они рождались, как будто та жизнь была совсем рядом, а не в далеком для меня прошлом.

Мне виделся дом на берегу реки, где я родился; молодая, почти юная мама гладит на кухне белье и мурлыкает со мной о чем-то; слышится тихая музыка по радио — веселые позывные спортивной передачи, которые не звучат много лет... Воспоминания струились, как чистый родник, вопреки всему, что я здесь видел. Они шли нескончаемым потоком, излучали добро, которое дали мне люди в предыдущей моей жизни.

Мой взгляд скользил по городам, в которых я когда-либо бывал. Я словно брел по их таинственным улицам, оставившим часть моих надежд, мыслей и дней.

Вот Ярославль — древняя круглая башня на торговой площади, старые дома, вернувшие и сохранившие воздух прошлых веков; я там учился. Нижний Новгород — невероятно огромная Волга (противоположный берег почти не виден), гигантские мосты, плывущие в дымке над водой; я жил там целое лето. Одесса — музей античного мира, в одной из витрин, хранилищ минувшего, золотая ваза, спрятанная кем-то сорок веков назад; театр, морской вокзал, Пересыпь и теплое бирюзовое море; я там отдыхал. Питер — закованная в гранит Нева, внутренний дворик в шестиэтажном доме-«колодце»

девятнадцатого века, где обитал мой друг; я так часто приезжал сюда в студенческие каникулы. Херсон — каравелла у причала, могилы русских героев Крымской войны. Вологда в куполах церквей, где знаком каждый переулочек и камень... Я, счастливый путешественник, налегке лечу и лечу по времени и городам...

Когда я только еще окончил школу и оказался вдруг в какой-то невесомости, всякие веселые молодежные сборища вызывали у меня зовущую грусть, словно я оставил в них что-то невыразимо милое и напрасно уходящее из моей жизни. Но потом ностальгия прошла, и я часто бродил вечерами по набережной уже с иными мыслями. Шагаешь безмятежно, воздух насыщен густым запахом сирени и реки, от которой почему-то отдает теплом; тихо, все кругом словно незнакомо. Но когда я вижу, как за небесным молоком разлившейся реки, в нежном аметисте неба, струится белесо-голубой собор, носящий имя Софии, и высокая колокольня его тоже струится вверх, как ангельский хорал, город словно приближается ко мне...

А нынче легкий ветерок обдаёт таким же легким морозцем, близким, знакомым, как и тогда, год назад, когда мы приехали со Светкой Шадринной, красоткой стройненькой и умницей, на выходные в деревню. Затопили русскую печь в старой просторной избе с голыми тесаными стенами, некрашеным белым полом, бесчисленное количество раз мытым водой с мелким речным песком. Я вышел за водой, потом мы сидели обнявшись на крылечке, без шуб — их оставили в избе, и нам не было холодно. Смотрели на крупный, медленно сажающийся снег, вбирая в себя тишину нетронутого северного леса и предчувствие весны... Лицо ее было омыто улыбкой. Мне все нравилось в ней, но особенно ум. Она оставалась для меня загадкой, и так вновь хотелось увидеть ее... Где ты теперь, тот день и ты, Светка?..

А вот я иду залитыми солнцем августовскими кварталами после поездки на деревенскую размашистую свадьбу, молодой, энергичный, готовый перевернуть землю... Да неужели это все было когда-то!...

Нет, я не думаю о будущем, его нет. Я думаю о прошлом, моя жизнь теперь в нем.

Утро наступает ясное. Кругом простор, безлюдье, широкая река, затянутая льдом с кой-где открывшимися проталинами. Мы здесь уже третий день. Где — представления не имеем. Мы убираем со склада, оцепленного тройным рядом колючей проволоки, стальные капсулы, загружаем ими гусеничные спецмашины. Это яд, отравляющие вещества. Мы экипированы костюмами химзащиты и противогазами.

— А, все равно эта территория отравлена, — машет рукой комроты. — Теперь только сам господь бог очистит ее от этой заразы.

Он дает задание сложить лопатами рассыпанное вещество в открученную капсулу.

— А куда его отвозят, товарищ старший лейтенант?

— Много задаешь вопросов, боец! — И добавляет (никакого секрета тут нет). — Уничтожать. Теперь гораздо более эффективное оружие изобретено.

Много лет прошло, а все не выходит у меня из головы тот образ: на фоне ясного неба набегающей весны немые корпуса брошенного завода, портовые краны — омертвелые монстры набравшей силу цивилизации... Ослепительное солнце, выглянувшее сквозь очнувшийся небесный витраж после многомесячного небытия, до веселой боли отражает в редких первых проталинах

слепающий снег, и на нем полосу случайно рассыпанного ядовито-оранжевого вещества. Она тут и там усеяна трупами множества птиц, с распростертыми крыльями, остекленевшими, но не замутненными еще глазами, застывшими в последнем крике жизни, отчаянном броске надежды и сопротивления... Их глаза светятся цепенеющим страданием. Многие еще не мертвые, но уже и не живые.

Бесстрастно смотрит сиятельная весна на нас, людей, с ног до головы закупоренных в резину химзащиты, отгороженных ею от судьбы волею случайности погибших птиц. Чужда земля под калошами резиновых скафандров. Может быть, это сон?..

Вечером нас переправляют на постоянное место дислокации. Нас сопровождает огромная багровая луна, которую можно принять за уходящее солнце.

В начале ночи вновь торчим в проклятом туалете, стирая чужое белье. С тех пор, как я надел форму, все слилось в какую-то одну однажды начатую и теперь ни на миг не прекращаемую работу. Работа продолжалась и днем и ночью, даже когда ты спал, потому что сон не расслаблял и не успокаивал. Он был не отдыхом, а строго рассчитанным, как и килокалории, физиологическим актом, необходимым лишь для того, чтобы днем неустанно двигаться и шевелиться.

...Пинками они подняли с постели Полкового, послали в столовую за чаем и хлебом, а в шамовскую каптерку за салом и водкой. Днем, на складах, они потешались над ним: заставляли петь в противогазе песню. Естественно, у него ничего не получалось, за это они его избивали, и особенно усердствовал Шамов. Он все с каким-то особым смаком норовил попасть тому в копчик черенком лопаты, и удовольствие светилось на его лице, как будто он проделывал приятную гимнастику.

— Это издевательство!— слышались сквозь резину противогаза стенания Полкового.

— В армии нет издевательства, сынок!— последовал ответ.— В ней есть только приказ. Ты клеветешь на доблестную и героическую армию. Ты лгун и очернитель. И за это, а также за пререкательство со старшими сегодня полночи будешь спать в противогазе! — определил наказание Шамов.

Шамов явился в моих армейских сутках продолжателем когорты тех славненьких типов, знакомство с которыми началось для меня с Горбалы, не сжившем меня со свету лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств; типов во многом разных, и все же вмещающих в своем характере нечто неумолимо прямолинейное и стандартное, как удар хлыста. Шамов, плотненький, коренастый и шустрый, как хорек, бывало, нарочито сдержанным шевелением пальца подманит к себе зеленого, и в движении том — самодовольство властвующего мелкого пакостника и живодера. Такое же движение сквозит в чертах его лица во время неприятной для нас процедуры — забоя свиней, которых держали в полковом хозяйстве. Свинью обычно заваливали мы, а удар ножом наносил Шамов. Его никто не принуждал, он сам вызывался, и я до сих пор убежден, что занимался он этим с наслаждением.

Наслаждение составляло для него сжать трепещущую человеческую душу в кулак, покомкать, как подраненную птицу, поистязать, ущипнуть исподтишка, а затем зорко следить за мучениями ее. Он вытапывал беззащитные души, как сорную траву. Казалось, то была цель его жизни...

Сейчас, пока Полковой, так и не снимая противогаза, отправился в столовую под дикий хохот старослужащих, они заловили насмерть зачуханного Чифа, вручили ему одежную щетку и велели стряхивать пыль с их спин. Чиф отнесся к поручению очень прилежно. Глаза его ничего не выражали, они были мутные, как матовое стекло.

— О, видали,— злорадствовали они.— Профессора с нас пыль сдувают! Их бы всех, кто с высшим, п...ть нещадно.... Да стукачей среди них много. Что, профессор, тоже скажешь, «не положено»? Запомните, сынки: в армии все положено. А пойдете правду искать — пропадете с ней. Правда здесь никому не нужна!..

Когда Полковой принес то, что требовалось, «господа» закрылись в ротной каптерке для пиршества, а мы получили временную возможность передохнуть. Ребята зашли к нам в туалет перекурить. Мы с Лариком тоже оставили свои прачечные дела.

— Я бы не позволил, чтобы меня в противогазе песни заставляли петь,— зло и твердо отрезал Ларик.

— Ну я им устроил... устроил...— говорил дрожащим голосом Полковой.— Я сейчас в их чайнике тряпку, которой говно в туалете стираем, помыл. Пусть теперь пьют.

— А не заметят?

— Не заметят. Чай-то крепкий, не видно мути. Разве что по вкусу... Так я туда сахару набухал, забьет...

— Им не дерьмо туда нужно подмешивать, а отраву, которую мы вчера на складе грузили. Их, как крыс, травить надо,— мрачно изрек один из зеленых.

— А что,— наивно задумался Полковой,— надо было с собой прихватить сегодня... Да где там, шманали же.

Согбенный угловатый Чиф молчал все время, лишь судорожно курил один за другим «хапчики», которые отыскивал в помойном жбане (свои сигареты у него отбирали). Он был настолько хронически затравлен, что по внешнему виду нельзя уже было определить, что он сейчас чувствует: лицо его было каменное. Он, как покорная, отжившая свой век лошадь, сносил удары обреченно, не помышляя о какой-то иной доле.

Над ним все издевались, как я уже говорил, кроме зеленых, в том числе и вновь созревшие черпачки-бодрячки. Один из таких черпачков в свое самоутверждение и на наше устрашение, грозно рыча на слабого, безвольного, безликого и забитого Чифа, устроил как-то перед нами образцово-показательную порку его. А несколькими днями спустя мы стали свидетелями того, как «крутому» черпачку-бодрячку тому Князь врезал так, что недавний истязатель, рухнув на металлическую койку, пролетел вместе с нею метра три, пока не ударился в стену. Голос его задрожал, он плакал, почти скулил, как щенок, пытаясь спрятаться от старослужащего туза за столом и под кроватями. Но Князь неизменно настигал его своими кулачищами.

— Ты баба,— сплюнул Князь.— Вот за что я всегда презирал тебя.

Да, люди здесь, проявлялись довольно скоро, как на ладони, совсем не так, как по ту сторону забора, опоясанного колючкой. Ежедневно и ежечасно приходилось видеть, как грозные мальчишки робеют и притихают перед более грозными, а замкнутые и спокойные взрываются динамитом, когда кто-то хочет потешиться над ними. Забавно, а то и горько было видеть, как ситуация

меняет людей в корне, превращает из одних в совсем других, словно и не остается прежних достоинства и самоуважения. И думалось в сердцах, что люди — беззащитные марионетки, в меру или не в меру лицемерные существа, каждый по-своему, все до одного, без исключения, и ты в их числе!

По здешним сумеречным законам дедовщины вновь прибывшего, прослужившего менее года «военного» (в это обыденное слово вкладывался издевательский смысл) единодушно «невзлюбивали». Нет, не за его личные качества, а безотносительно их и, можно сказать, вопреки им. «Нелюбовь» была формой психологического воздействия на новичка или пришлого, чтобы подчинить человека, заставить его работать за себя, легче управлять им. У жертвы пытались отыскать отрицательные качества, которые тут же раздувались до слоновьих размеров. А если обнаружить их не удавалось, тогда последние просто придумывали, нередко приклеивая при этом какую-нибудь расхожую кличку-характеристику типа «Шланг», «Стукач» или «Чмарь».

Впрочем, вернемся к нашему сюжету. Импровизированное собрание в отхожем месте безродных и угнетенных продолжалось.

— Мы же скоты для них!.. — шепотом возмущался один.

— Еще чего! — так же тихо возражал другой. — Видал ли ты когда-нибудь, чтобы так со скотом обращались? Скот берегут, жалеют. Мы для них хуже. Скот считают по головам, а нас называют другой частью тела.

—...А латыш?.. Что, думаете, над ним так издевались, когда он молодым был? Болтуть рассказывал, никто его не трогал, лишь так, по мелочам. А в нем откуда все это взялось? «Лэчь, встать...» Фашист поганый, эсэсовец...

— Вам-то что, — говорит зеленый из соседнего подразделения, как можно догадаться, окончивший институт. — Сразу после восемнадцати лет здесь легче торчать. А нам каково! — с дипломами да с семьями дома...

— Кому «вам», — вступаю в разговор я. — Мне через пару дней двадцать два исполнится.

— Да ну, не знал, не похоже.

— Нет, — возражаю. — Лично я считаю — наоборот. Нам легче. Мы кой-что повидали, окрепли чуть-чуть, можем сравнивать, опыта больше, выдержки. По крайней мере, есть что вспомнить среди тоски этой...

— Ну как? — усмехнулся вместо возражения мой оппонент, обращаясь к Чифу. — Больше у тебя выдержки теперь с высшим-то по сравнению с восемнадцатилетними?

Чиф ежится и сутулится еще больше. Молчим. Да, через пару дней мне двадцать два. Но я считаю, что мне почти уже двадцать четыре. Столько мне будет, когда я вернусь домой. Потому что эти годы не в счет. Они вычеркнуты, как кошмар, который нужно поскорее забыть. Двадцать четыре, это, наверное, уже солидно...

— Да можно ведь служить, если б не законы дедовские! — восклицает Ларик. — Вон за Черной Речкой, рассказывают, в танковых войсках, соплю кинут, так к тебе «товарищ ефрейтор» обращаются, вот как! О таком, что у нас творится, они и не слыхивали. Рассказываешь — не верят. Что им не служить. Лафа, а не служба!..

Зеленые постепенно расходятся от греха подальше, каждый по своим делам. А мы с Лариком продолжаем стирать «господское шмотье». Шмотья навалом. Иногда отдыхаем, перекуриваем. Окно открыто, и из него идет широкий поток

уже теплого воздуха. Кончились затяжные морозы, весна наступает. И хотя в нашей судьбе ровным счетом не меняется ничего, на душе какой-то непонятный подъем, как будто и в самом деле грядут лучшие перемены вместе с бодрящей свежестью оттаивающего леса. А еще приближение тепла и весны говорит о том, что время хоть и черепашьими шажками, движется, а значит, скоро мы формально перейдем в новую категорию — из зеленых в молодые. Особых почестей очередное «звание» нам не даст, и все же первый барьер мы преодолеем.

С Лариком строим планы на послеармейское будущее. Оказывается, мы оба велолюбители, и он приглашает меня к себе на родину, в далекий южный город, откуда мы собираемся совершить путешествие на колесах по Крыму и Кавказу. Ларик мечтает о том, как поступит в институт, а я — как восстановлюсь в нем. Перед мысленным взором вновь мелькают неведомые города, встречи, *doice far niente*⁴ и головокружительный полет, который называется свободой.

Таков человек: затянется петля до предела, и жить не хочется. Но малейшая отдушина, глоток воздуха освобождают место надежде.

СУТКИ СТО СОРОК ШЕСТЫЕ ПЛЮС ЕЩЕ ОДНИ

С вечера Ларик заступил дневальным по роте. Незавидный наряд. Здесь ты всегда на виду. Другие зеленые и молодые имеют хоть какую-то возможность скрыться. Но раз ты дневальный — на тебя посыплются все шишки, потому что ты рядом, под рукой. Ты становишься пристальным объектом внимания и для офицеров, и для старослужащих. Не приведи Господь тебе отлучиться от тумбочки дневального, установленной у входа в казарму! Весь день на ногах. А вечером ты — клоун.

— Дневальный! — заблажит какой-нибудь олигофрен из старослужащих.

— Я! — во всю мочь своих отнюдь не богатырских легких откликнется дневальный.

— Тащи станок е...льный!..

И все в том же духе. И так далее и тому подобное. Но Ларик был не из тех, кого можно превратить в паяца. Он предпочитал получить лишний удар под дых. И это было тем печальнее, что напарником с ним заступил трутень-черпак, который, разумеется, ничего не делал, и Ларику, отработавшему первую половину суток, пришлось приступить ко второй.

Тот вечер завершился для меня без особых эксцессов. Я даже спать лег всего лишь на два часа позже отбоя, то есть в половине первого.

Сон мне снился какой-то нехороший. Проснулся неизвестно почему: в казарме стояла гробовая тишина. Содержание сна мгновенно пропало из памяти, как пленка засветилась, осталось лишь тягостное ощущение. Послышалась возня у входа в расположение, напоминающая драку, какой-то приглушенный гортанный звук. Далее последовал удаляющийся в сторону туалета и выхода из казармы, топот.

⁴ Сладостное ничегонеделание (ит.).

Примерно через полчаса в расположение на полусогнутых ногах прокрались Шамов и латыш. Они украдкой залегли в кровати, но еще долго о чем-то нервно и возбужденно шептались. «...в случае чего — были в каптерке... когда шли, ничего не заметили... да нас и не видел никто, дрыхнут все...» — доносились до меня обрывки фраз.

Мне не спалось. Я ворочался с боку на бок. Наконец, заснул. Под утро кто-то поднялся, видимо, в туалет направился. Раздался душераздирающий крик. Я быстро прыгнул в сапоги, последовал на голос. Дверь в гладильную, что находилась рядом с туалетом, была приоткрыта... Там на капроновом шнуре, привязанном к водопроводной трубе, тянувшейся у самого потолка, висел солдат. Его лицо было искажено страшной гримасой. И такой отторгающе-ненужной казалась его форма, как будто кто-то через силу натянул ее на манекен...

Это был мой друг Ларик. Вернее, тело, которое принадлежало ему еще недавно.

На минуту я впал в оцепенение, не замечая тех, кто толпился рядом. Потом разбудили Князя, бывшего дежурным по роте. Мы впервые видели его таким растерянным. Он не знал, что делать. Звать ротного? Сообщить дежурному по полку? И в те минуты, помнится, мы воспринимали Князя не как врага нашего, от которого, как и от остальных старослужащих, можно ожидать любую гадость, любое унижение, а как такого же солдата, как и все, помещенного из дома в казарму и поставленного заниматься странными делами, которыми никогда не будешь заниматься за пределами территории, именуемой армией.

Князь доложил о случившемся дежурному по полку. Подступало утро. После подъема в казарме установилась непривычная тишина. На месте трагедии уже перебывало много офицеров, в том числе и командир полка. Пока ждали военного следователя, кто-то приказал снять труп и закрыть его простыней, а ротный немедленно начал собственное расследование. Еще бы, ЧП грозило ему многими осложнениями.

В казарме толковали разное. Черпаки и деды внешне были на удивление единодушны: Ларику служба осточертела. Его труп еще не успел остыть, а кое-кто уже цедил сквозь зубы, что слабонервная зеленка, хлюпик и маменькин сынок, не выдержал.

Зеленые помалкивали. Они пребывали в ужасе от того, что произошло, и давление старослужащих не позволяло им высказывать свои суждения.

Ротный одного за другим вызывал солдат к себе в кабинет. Сначала он дотошно допытывал второго дневального из черпаков, который во время случившегося спал. Потом дежурного, который тоже изволил почивать. Потом остальных. Дошла очередь и до меня.

— Говорят, ты был с ним дружен, — начал ротный. — Можешь подтвердить, что он службой тяготился, стремился отлынить от нее?

— Странные вы вопросы задаете, товарищ старший лейтенант. Кто же не будет тяготиться службой, которую надо тащить за старослужащих?

— То есть?.. Не хочешь ли ты сказать, что у нас неуставные взаимоотношения?

— А вы не знали, товарищ старший лейтенант?

— У вас особое мнение, боец Филиппов, — внезапно ротный перешел на «вы», что, очевидно, являлось признаком его недовольства. — Почему же

остальные ни о чем таком не говорят? Сержант Князев, ефрейтор Шамов и другие бойцы, зарекомендовавшие себя с самой положительной стороны, никогда не жаловались на неуставщину. Дисциплина — это еще вам не неуставщина, да... И все-таки... Можете подтвердить, что ваш друг стремился покончить с собой?

— Нет, не могу. И он не покончил с собой!— внезапно вырвалось у меня, хотя весь предшествующий короткий, но весьма бурный опыт службы учил тому, что раскрываться нельзя, и тем более доверять кому бы то ни было, ибо любой неосторожный шаг может обернуться против тебя с троекратной силой.

— Это... это как еще понимать?! Что, его убили что ли?.. Ты видел собственными глазами?

— Нет, не видел.

— Ну так... Домыслы тут преступны.

Я замолчал. Скажи я сейчас о Шамове, латыше — да бог его знает, может, я тем самым подпишу себе приговор. До сих пор в печенках сидела история с перехваченным письмом, направленным для «разбирательства» к Горбалы.

Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтоб не видеть, чего добивался теперешний ротный — мифа об уставном порядке. Попался слабонервный хлюпик, самоубийца, психически неполноценный, но тут уж, увольте, он ни при чем...

Понимал я и молчание зеленых, диктуемое напряженным страхом за собственную судьбу. Люди, прижатые к стене, думали прежде всего только о себе. Увы, клоака не рождает героев.

Я не решился довериться ротному. Больше я ему ничего не сказал. О том, что видел и слышал, можно будет сообщить только следователю, да и то с оглядкой, убедившись наверняка, что сам буду защищен и не брошен на растерзание подозреваемым.

Такова суть круговой поруки: молчание тех, кто преступен, молчание тех, кто зажат ими в тиски.

Нет, я не предаю память о товарище. Но Ларика теперь уже не вернешь, а у меня впереди — около шестисот суток безвременья. Может быть, придется ждать до самого дембеля, но ты не останешься не отомщенным, Ларик.

Вечером ротный повторно вызывает меня к себе. На удивление он теперь не покидал роту, и потому для зеленых и молодых наступила некоторая передышка: их теперь не могли шпынять в открытую.

— Ну, так не вспомнил ничего нового? Есть воины, которые утверждают, что Лаврентьев не раз говорил о том, что ему жить надоело.

— Не мог он такое говорить, да и не говорил. Он не хлюпиком был, за себя постоять умел.

— Значит, не вспомнил...— без лишних слов он отпустил меня.

На следующий день после завтрака на плацу был выстроен весь полк. Полковник метал громы и молнии. Он долго распинался о том, что служба в армии — дело настоящих мужчин, что нужно закалять характер и не уподобляться слабакам, которые при малейших лишениях готовы наложить на себя руки.

«Друг мой, ты говоришь дело, но не по делу»,— вспомнилась мне фраза одного спартанского царя, которую я вычитал у Плутарха. Книжку античного историка я нашел в маленьком чуланчике среди вороха забытых бумаг в

строевой части, где еще недавно работал за машинистку. Издание было старым, но не читанным. Книжка стала единственным моим личным достоянием, кроме туалетных принадлежностей да казенной одежды. Сочинения древнего грека никого не соблазняли и их никто не хотел красть, хотя любая беллетристика исчезла бы из тумбочки в мгновение ока. Правда, я сам за много дней сумел прочесть украдкой лишь несколько страниц: все время поглощала работа. А украдкой, потому что читать зеленым не полагается, и если бы меня засекли за этим занятием, мне бы несдобровать.

Развод окончился. Ротный сообщил, что меня и еще двух бойцов из третьей роты командируют в войсковую часть под Выборгом, и приказал каптерщику выдать мне парадку, которую я до сих пор не видел. Парадку, комплект белья предстояло сложить в рюкзак, а самому ехать в хэбэ и шинели.

Любопытный поворотец в моей судьбе. Я пока еще смутно догадывался, чем он вызван, однако счел отправку за неожиданно привалившее счастье. Конечно, служба в ранге зеленого везде одинакова, отдушины нигде не найдешь. Но хорошее в смене окружения то, что, образно говоря, если тебя сегодня методично бьют по одному боку, то на новом месте будут бить по другому. Таким образом ты успеваешь немного передохнуть. А когда за тебя возьмутся как следует, ты уже привыкнешь к обстановке и сможешь выработать противоядие.

После обеда нас ждала машина с сопровождающим офицером. Рюкзак уже был брошен в кузов, мотор заведен. Сегодня воскресенье, и деды собираются в увольнение в поселок. Я представил, как они сейчас прихорашиваются в шамовской каптерке. И тут меня осеняет...

Я забыл бритву, — бросаю набегу. — Сейчас, мигом.

Спускаюсь в подвал штаба. За дверью каптерки голоса. Латыш слизко, самодовольно что-то мелет. Вставляю кусок толстой арматурной проволоки в приваренные дужки наружного запора и начинаю тщательно закручивать ее. Подается она с трудом, зато предствляет собою надежный замок.

— Э, кто?.. Кто там? — слышится голос Шамова. Они начинают бабахать в дверь. Молчу, упорно продолжая начатую работу, которую впервые исполняю с высоким душевным подъемом. Орать, ломиться можно сколько угодно: в воскресенье штаб пуст.левой рукой зажав нос, а правую приставив неплотно ко рту, чтоб исказить голос, произношу громко и по мере сил «страшно»:

— Привет от Лаврентьева. Скоро сочтемся!

Миновав еще несколько каптерок, при выходе из подвала зажимаю снизу наружную, обитую металлом дверь, толстой щепкой, но так чтоб ее нельзя было сразу заметить. Ну вот, кажется, получилось. Теперь никто их не хватится до вечера, а то и до утра. Счастливо развеяться, старички.

Мелкая, ничтожная месть, как и то, чем мы живем. Вот все, что я пока могу сделать для тебя, Ларик.

СТРАННЫЙ ГОРОД НА ТОМ БЕРЕГУ ЖИЗНИ

Попал я в артиллерийские части, где роты именовались дивизионами. Сопровождающий офицер «сдал» меня, и теперь я дожидался своей

дальнейшей участи у оружейной комнаты. В дивизионе почти никого не было.

— Андрей? Филиппов?— услышал удивленный голос. Глянул и глазам не поверил: Володя Шунков, потерянный мной несколько месяцев назад. Мы пожали руки друг другу, обнялись. Выяснить не стали, как и почему здесь очутился каждый из нас. Пребывание в армии научило отсекаать все лишнее и не терять время.

— Каково здесь? — сразу спросил я.

— Дедовщина жуткая, как везде, но полегче, чем в Кольцах: город рядом, начальство — побаиваются,— ответил Володя, и взгляд его упал на мой рюкзак.— У тебя что здесь?

— Парадка, фляга, комплект белья...

— Вот что, парадку нужно срочно куда-то спрятать. Запомни: у тебя ее нет, привезешь потом. А то отберут сразу же. А отберут — оставшиеся полтора года проведешь без увольнений, сам знаешь.

Да, Володя прав. Парадка не просто тряпка, которые я всегда презирал, тем более цвета хаки. Парадка — как бы билет к кратким дням свободы. Если ее у тебя нет — об увольнении, или что совсем фантастично, отпуске, нечего и мечтать. Мне повезло: деды на момент моего прибытия в дивизион находились в солдатском клубе, то есть мрачном, старом, оставляющем тягостное ощущение, помещении, все стены, пол и потолок которого, казалось, были насквозь напитаны флюидами тоскующих и страждущих душ, и смотрели, верно, какой-нибудь механически смонтированный пропагандистский фильм.

— Вот что,— решает Володя,— парадку мы сейчас спрячем временно в кочегарке, там наш человек, из зеленых. А потом ее придется перепрятать: там тоже устраивают шмоны.

Дело сделано. Теперь есть возможность поговорить подробнее о недавнем былом.

Володя Шунков быстро инструктирует меня, как здесь себя вести, чтоб не вляпаться в неприятности. Он перечисляет клички некоторых старослужащих:

— Мироеды, старайся держаться от них подальше. Перед ротным изображай покорность и радость, что бы он тебе ни приказал. Он любит оптимистов и улыбочивых. Кусок-замкомвзвод — этому угодить трудно, как повезет. Прикидывайся простаком. Сгноит в нарядах, если что не так. Начальник строевой, майор, деловой мужик и без комплексов. Я его попрошу пристроить тебя к нам в комендантский взвод, там ребята неплохие подобрались, один за одного. Покажешь себя инициативным, попадешь под его покровительство — служба пойдет легко: майор в отличие от прапора, напротив, сообразительных ребят любит.

Володя продолжал меня инструктировать относительно разных мелочей, и слова его были дороже золота. Если бы на собственной шкуре пришлось осваивать щедро раскрываемые сейчас передо мной познания, цену бы за них пришлось заплатить порядочную — и тумачи, и беспробудные наряды, и полтора года потерянных увольнений.

...Покончив с самым на теперешний момент для меня жизненно необходимым, мы перешли к вещам второстепенным, уже не могущим повлиять на ход текущего бытия. Володя рассказал о том, как он оказался под Выборгом. Сначала были все те же пресловутые Черные Кольцы, где из него душу вытряхивали. Потом через знакомого крупного военного чина удалось

перебраться сюда.

Я поведал о соображениях по поводу своей внезапной командировки.

— Не мог Ларик на себя руки наложить! Придушили его и повесили. И в этом Шамов с латышом замешаны точно. Я оказался косвенным свидетелем. От меня решили таким образом избавиться.

— Ты уверен?

— Уверен. Еще за несколько часов до смерти мы с ним планы строили на будущее. Не из тех людей был Ларик. И деды себя очень подозрительно вели. Но самое главное — в гладильной не оказалось ни стула, ни какой другой подставки. Как же он под потолок-то сумел забраться!..

— М-м-да. Тебя, конечно же, не ротный перекинул. Уровнем повыше.

— Надо думать. Командованию части ЧП не нужны...

Тут с шумом распахиваются двери, в дивизион вваливается ватага черпаков, дедов. Разговор придется прекратить. Но настроение у меня приподнятое: я обладатель мощных козырей — собственного опыта, помноженного на устный путеводитель, предложенный нежданно-негаданно встреченным другом.

Володины старания оказались удачными: я попал в комендантский взвод. В первый же выходной командир строевой части дал мне увольнение, первое за минувшие полгода. Разумеется, не просто так. Пришлось солгать, что я знаю, где можно достать хорошую мелованную бумагу (на самом деле я понятия не имел, где, и к тому же в Выборге никогда не бывал). Кроме того, приходилось придерживаться одной изначальной версии — что парадку в старой части я получу позднее, а для текущего увольнения мне дадут парадку напрокат в дивизионе. Такое положение дел устраивало майора, и он выписал заветную увольнительную бумажку. В действительности, окажись я без собственной парадки, деды никогда бы мне не позволили уйти в увольнение, и напрокат ничего бы я не получил. А так они могли пребывать в убеждении, что я где-то «пашу». К тому же я еще не успел примелькаться.

Одна часть задачи была решена.

До заветных выходных оставались сутки, и предстояло решить вторую, не менее важную часть задачи: где прятать парадку и где переодеваться, ведь кочегарка, расположенная на территории части, для такой цели не подходила. Меня бы быстро и легко разоблачили. Какие только хитросплетения ни приходилось изобретать, чтобы обеспечить себе сносное существование!

На страх и риск вырвал я время для изучения ближайшей территории, примыкающей к части. Внимание мое привлек небольшой, почти до конца отстроенный нежилой одноэтажный домик. Он был обшит новенькой, еще не крашенной вагонкой. Я прилег у фундамента, заглянул снизу под обшивку. Дом был рубленным в обло и именно за счет этого расстояние между обшивкой и бревенчатой стеной оказалось достаточным, чтобы, изловчившись, пролезть туда. Опираясь руками о лаги, к которым крепится обшивка, а ногами — о выступы бревен, глотая свежую пыль из мелких опилок, я пролез под обшивкой наверх и оказался на чердаке. Чердак был глухим, без какого-либо выхода, и темным. Здесь в углу присмотрел я место для будущего тайника — место идеальное. Какому нормальному человеку, или даже профессиональному вору может прийти мысль, что в дом можно проникнуть, пробравшись у самого фундамента под нависающую обшивку, а затем таким

образом на чердак!.. А мне мысль такая пришла, потому что мозг работал отчаянно, жадно, на пределе, в поисках пути к маленькому отрезку свободы.

Вечером того же дня я разместил в тайнике парадку и ботинки, закрыв их куском старого рубероида.

Утром в субботу перемахиваю через забор, переодеваюсь в обшитом домике, украдкой пробираюсь до остановки рейсового автобуса и еду в город. В кармане деньги, наконец-то извлеченные из-под стельки сапога, хранимые на черный день в секрете от плотоядных урок.

— Пожалуйста, пройдите вперед,— слышу я, и меня непроизвольно бросает в холодный пот. Нет, ничего не произошло. Просто случайный пассажир вежливо попросил дать ему дорогу. Непривычная уху деликатность тона, в общем-то, обычная, оставляет меня в недоумении, и непроизвольно на подсознательном уровне вызывает предчувствие какого-то подвоха.

На одной из остановок шофер заходит в салон, открывает люк в полу, устраняя какую-то неисправность, а меня рефлекторно чуть не бросает к нему навстречу подхватить этот люк; я еле сдерживаюсь: так прочно вбит в сознание рефлекс, что мы должны работать, работать и работать на кого-то и за кого-то, убирать и подтирать за кем-то, подавать кому-то жратву, делать то, что в нормальном обществе каждый человек делает за себя сам. Боже ты мой, в кого же нас превратили, как прочно вбили мысль, что мы — скоты, безвольные низменные твари, виновные уже самим фактом своего рождения, не достойные ничего лучшего, как быть рабами нелюдей, объявивших себя «господами»!

Еду и все еще не могу понять то, что на целый день я свободный человек, а в моей свободе нет ничего криминального, предосудительного, и никто меня за нее не накажет. Впрочем, нет. Узнай старики, что зеленка пошла в увольнение, меня будут «учить» жестоко и упорно.

Странно-необычным, неестественным выглядит то, что пассажиры автобуса смотрят на тебя как на человека равного себе, а не как на объект, который можно поэксплуатировать, ограбить, над которым можно безнаказанно, ради развлечения, поизмываться.

Невольно я наблюдаю за людьми, прислушиваясь к их разговорам, и в поведении, оживленном, неспешно-раскованном, улавливаю диковинную, напроць, казалось, забытую вещь — радость жизни. Когда некое существо постоянно гонят и гонят куда-то плетьюми, радость жизни, которая, собственно, и есть сама жизнь и смысл ее, постепенно вытесняется страхом, недоверием, остервенением — и тогда остается лишь существование, борьба за него. Настоящего нет. Есть лишь мечта о будущем, лишь благодаря ей существо и сносит удары кнута, предотвратить которые не в его власти.

Получив глоточек свободы размером в полсутки, я только сейчас словно бы со стороны взглянул на себя и увидел, в кого нас превратили за эти месяцы. Нам нельзя было расслабляться ни на минуту, потому что ежеминутно можно было ждать удара, издевательства, провокации, и мы пребывали в постоянном напряжении моральных и физических сил, которое ожесточило и выработало со временем своеобразный иммунитет. Он заключался в расчете на худшее, готовности видеть в любом другом человеке личного врага; необходимо было распознать, в какой степени опасен этот враг, и какие средства пустить в ход, чтоб наиболее обезопасить себя от него.

Существование среди развешенной дедами паутины научило нас самой

искусной, надежной, основанной на полуправде лжи. В любую секунду времени в голове каждого изгоя был готов ответ, что он делает и по чьему распоряжению (ибо по своей воле он ничего делать не вправе). То была идеальная, выверенная ложь, и любая правда померкла бы в сравнении с ней по своей достоверности. «Не верь, не бойся, не проси». Каждый убеждался сам в истинности слов, рожденных в тенетах паучьей обители. За минувшие месяцы мы хорошо усвоили, что должны избегать лишних контактов, не раскрывать душу и спрятать подальше свои слабости.

В автобусе, который уносит меня на день свободы, в смутном отражении окна, я впервые увидел свое лицо... Нет, конечно, я наткнулся на свое отражение раньше — по утрам, в зеркале умывалки... но не видел его. Все эти месяцы мне казалось, что у меня нет лица. А если оно и есть, то страшное, безобразное, плоское или уродливое, как у Квазимодо, ведь все, что мы здесь получали по отношению к себе — презрение или ненависть. А теперь потихоньку до меня стало доходить, что я тоже человек, что мне нечего бояться, и нужно разогнуть спину.

Возникло такое открытие не сразу. Мне все казалось, что я не имею права на свободу и на то, чтоб считать себя полноценным человеком. Мерещилось — меня будут преследовать за то, что я впервые бездельничаю, разглядываю себя в стекле.

А за окном между тем из тумана вывалилась восьмигранная громада Замковой башни. Прояснились очертания стен и бастионов. Суровый оплот, возведенный шведами, мрачно простирал свою власть над городом, окаменелый дух варварства и жестокости, шагнувший из далекой легенды через семь сотен лет. Он менял сюзеренов, правителей и королей, пережил поколения и государства, переходил из рук в руки, и, в конце концов, принадлежал лишь самому себе да безмолвному течению Времени, тихим шуршанием песка струящемуся и теряющемуся в каменных руслах бытия...

Вот я и в городе, и словно переносюсь в далекое средневековье: мощенные обработанным булыжником узенькие улочки, дома с аркадами, высокими ажурными фронтонами, удивляющие воздушным взлетом башен, остроконечными шпилями и стрельчатыми арками. Готическая легкость скрывает в себе некую загадку и берedit в душе потерянную романтику приключений.

Постепенно, шаг за шагом, оттаиваю от ледяного холода, который сгустился за моей спиной. Первым делом посещаю переговорный пункт и звоню на родину, домой, за многие сотни километров отсюда. Наконец, откуда-то издали слышу голос мамы. Странное чувство, что он нереален, что нет давно ни дома моего, ни мамы, и что голос ее звучит из моей памяти, снится мне сном другой, утраченной жизни.

Узнав меня, она заплакала, словно подраненная птица, долго и безнадежно охранявшая свое гнездо.

— Мама, у меня все хорошо, жив-здоров, — тороплюсь я, захлебываясь и боясь, что связь оборвется. А потом сообщаю индекс центральной городской почты — переводы и посылки буду получать до востребования, конечно же, иначе не увижу их. Прошу выслать старую парадную форму, поспрашивать у кого-нибудь из отслуживших в армии, любого размера, грязную или изношенную — все равно. Она будет служить для отвода глаз, ведь так или иначе ее конфискуют. А свою, которая и есть ключ к свободе, буду хранить в

тайнике, как зеницу ока.

У меня кончаются жалкие монеты. Но о самом главном я успел сказать! Ниточка прошлой, человеческой жизни, протянута, и она будет жить, когда я вновь окунусь в серый омут безликих суток.

Одинокий и свободный, блуждаю я по странному древнему городу, где почти каждый дом — маленький готический замок, где за сводами арочных проходов, казалось, параллельно теперешней, кроется движение жизни из иной эпохи, чем наша. А ведь людей, которые воздвигли этот сказочный городок, давно нет...

Навстречу плывет фешенебельный громоздкий автобус с финскими туристами. Увидев меня, девушки дружно повскакивали с мест, замахали мне приветственно руками, заулыбались, закричали что-то на своем языке. Я соединяю руки в символическом рукопожатии в ответ, дескать, дружба! И большой автобус пронесется мимо и исчезает. Здесь много финнов — просто гуляют, кто-то идет на кладбище, которое до войны было финским, покупают водку, хлеб — в Финляндии они намного дороже.

Захожу в кинотеатр. Фильм, где сюжет вертится вокруг мелких житейских забот свободного мира, где говорится о какой-то любви, которая якобы решает все, раздражает. Господи, какие ничтожные, несостоящие вещи! На фоне постоянного напряжения сил и борьбы, ежеминутного ожидания опасности, исходящей от людей, предмет исканий режиссера для меня жалок, как ребяческие игры. «Роскошь тех, кому нечем заняться, кому ничто не угрожает», — думается мне. У меня не вызывают никакого сочувствия страдания персонажей. А любовь... Неужели бывают такие чувства?.. Да еще ставятся во главу угла жизни. Впрочем, видно, на свободе свои проблемы, и если их нет, то люди с поразительным упорством сами себе их создают да еще окружают красивым пафосом. Таков человек...

Ну вот я и у Круглой башни шестнадцатого века, грубой, аляповатой и асимметричной. Здесь мы договорились встретиться с Володей Шунковым, который вырвался в увольнение попозже. Внутри башни — стилизованный под средневековое убранство ресторан. Но он, конечно же, не для нас.

Володя появляется из минуты в минуту. Мы шагаем по городу вдвоем. Необычный это городок. В бытность его открытым международным портом многие страны посчитали должным отстроить здесь банки и посольства в духе своего времени и национального колорита. Он принадлежал сначала новгородцам, потом шведам, финнам и снова русским. Исторические эпохи и культуры причудливо переплелись здесь и застыли в шлифованном диком камне, который в избытке в здешних окрестностях.

Улицы потихоньку заполняются иностранными туристами. Впереди нас идут четыре девушки в джинсах, полуспортивных ботинках и курточках. Таковую одежду носит почти вся молодежь. Люди старшего поколения всегда одеты иначе, и в них быстрее распознаешь чужих.

— Давай-ка посмотрим, — предлагает Володя, — какая из них самая симпатичная.

— По-моему, крайняя справа.

— Да, судя по фигуре, я тоже так думаю. Значит, спорить не о чем. Проверим.

Только мы их нагнали, как эта самая крайняя справа — она и впрямь оказалась совершенно обворожительной красавицей — сама приветствует нас, произнося довольно чисто, лишь с небольшим акцентом:

— Добрый день!..

День в увольнении действительно добрый на редкость.

— А как вас зовут?— вопрошает Володя.

— За-вут?..— не понимает она, обнажая ровные ослепительно белые зубы.

— Вот я, например,— он тычет себя пальцем в грудь,— Вольдемар, Вольдемар.

Она смеется и что-то собирается ответить, подвергая, очевидно, тщательной ревизии свой небольшой словарный запас. Чувствую, ее познания в русском на этом и завершатся, и я с надеждой справляюсь у девушки насчет английского. Ба, английский — ее родная стихия! Говорит иностранка рафинированно грамотно, произношение прекрасное. Спрашиваю, откуда такие познания. А у нее, оказывается, бабка в Америке. Зовут молоденькую финку Ята. Столь экспансивно начавший ее кадрить «Вольдемар» теперь переминается с ноги на ногу. Увы, я вне конкуренции.

Подружки ее как-то сразу отстранились от нас: им не интересно слушать чужую речь. Володе тоже. Шунков не находит ничего лучшего, как банально направиться в кинотеатр имени пятидесятилетия не пойми чего, а мы с Ятой по моему предложению решаем навестить царящий над городом древний шведский замок, вырастающий из острова-скалы.

Восхождение по лестнице внутри главной восьмигранной башни со страшно толстыми стенами не назовешь легким — семьдесят пять метров все-таки на своих двоих! Наверху Ята невольно хватает мою руку и смеется. Там действительно жутковато. Двор замка, мощный ровным булыжником, кажется пятачком, а люди несекомыми, божьими коровками. Даже если смотришь на крыши палат, прилегающих к крепостным стенам, они выглядят взлетно-посадочными полосами с борта парящего лайнера.

Неведомый нам тринадцатый век! Сколько ног ступало здесь, сколько людей промелькнуло через столетия мимо стен, сложенных из грубых каменных глыб; людей, приходивших из ниоткуда, ускользящих в никуда, тех, кому были доступны любые вершины власти и процветания, и падших, счастливых и отчаявшихся, мудрецов и нищих духом, удачливых и невезучих, согбенных от тяжелого физического труда и праздных. Какая судьба была уготована им? Чего добились в своей жизни и что воздвигли?.. Но молчат стены, устремленные вверх.

А мы, в несколько минут минуем невообразимую массу камня, вручную взгроможденного далекими предками на невероятную для того времени высоту.

Город, который мы увидели с вершины замка, лежал, словно на топографической карте, а за ним — близкие и далекие острова и островки, извилистые шхеры, в порту — могучие краны и корабли, гранитные сопки, сквозь юную листву выглядывали маленькие дома с непривычными крышами. В опресневшей лагуне плавали чайки. Они резвились, взмывали вверх, высоко-высоко, и парили совсем рядом со смотровой площадкой бастиона. Казалось, до них можно дотянуться рукой. Чайки не замечали наше близкое присутствие. А мы любовались удивительно мягким серым цветом их крыльев.

То мнится, что открывшийся перед нами город — из ясных радужных мечтаний Грина, то за суровыми скалами и такими же башнями далекой старины забрезжит возвышенный и трагический дух непостижимого из символических фантазий Эдгара По.

— Там твоя Финляндия? — простираю руку над пропастью, говоря на сей раз по-русски, но Ята понимает и отвечает тоже по-русски:

— Да, да.

— Какие мрачные стены, — говорит Ята, когда мы спускаемся вниз. Мы опять переходим на английский, — А многие у вас в стране знают иностранные языки?

— А много у вас таких красоток, как ты?..

— Ты хочешь сказать, что я тебе нравлюсь? («You are fond of me, simply you'd like to say», — помнится, сказала она).

— Ну конечно, и даже очень!..

Который раз уже замечаю, что на чужом языке молоть чепуху, говорить комплементы и вдаваться в мимолетную откровенность совсем не совестно и просто.

— Обоюдно! — признается она в свою очередь так же легко.

— Не кажется ли тебе странным и прекрасным, что даже чужой язык сближает людей?.. Смотри, как быстро ушли твои подруги и мой друг...

— О, здорово. Я буду долго вспоминать этот день, — Ята смотрит на меня пристально, словно стараясь догнать мой убегающий в улыбке взгляд и отыскать то, что не найдешь за формальной оболочкой слов. Она говорит о том, что, возможно, мы еще увидимся, ведь она часто приезжает сюда.

Но мой взгляд мрачнеет, что не ускользает от ее недоуменного внимания. Я смотрю на часы. Времени остается совсем мало, а мне надо придумать что-то насчет мелованной бумаги, ради которой, собственно, я и выпущен на волю. Впереди казарменные сутки, и неизвестно, когда еще удастся выбраться в город, если удастся вообще. Но ей не объяснишь, что у меня на душе, да и представить себе она не может, что такое могучая иностранная армия, в которой я служу.

И тем обиднее, что Ята — живая и общительная, круглолицая беловолосая красавица с идеальной фигурой и многообещающим манящим взглядом ясных голубых глаз, который не может не тронуть за сердце. Я ее никогда не увижу, не смогу увидеть. Впереди более полутысячи дней и ночей, целая вечность, за которую можно уехать к бабушке в Америку, выйти замуж и развестись, за которую может случиться война, произойти революция и земля перевернуться вверх тормашками. Мне ничего не остается, как проститься с Ятой без всяких слов о будущей встрече, не взяв даже адрес (к чему?), сжав зубы, с молчаливым внутренним отречением, без сантиментов, которые уже как бы предполагались между нами.

Нельзя мне ни к чему привязываться на свободе — тем тяжелее будет потом. Существование без чувств, без надежд на встречи, которые все равно не состоятся, без мечтаний и горечи об утраченном — в том спасение. Не приобретать, чтоб не терять, не строить планов, чтоб не созерцать их руины... И потухший мой взгляд, который можно принять за равнодушие, и внешне безразличное молчание, как воспринимает она их?.. Увы, ей неизвестно, что происходит со мной.

Как песок в песочных часах ускользает мимолетный праздник. Мы встречаем ее подруг. Открыта шарнирная дверь ярко и пестро раскрашенного автобуса. Ята протягивает мне руку — она пухлая, нежная.

— I forget never,— шепчет она.

И автобус уходит в чужую синюю страну. Я еще долго наблюдаю за тем, как он плывет по длинному виадуку, соединяющему острова, и отсюда выглядящему тонкой жердочкой. Щемит на сердце от городов, которые никогда не увижу, от романтики чужой жизни, которую никогда не узнаю. Я ощущаю вкус трогательной, наивной и чистой мечты детства, которая сбылась, и от которой осталась легкая дымка, еще не совсем успевшая рассеяться в теплом дурманном воздухе, дымка, в которой не скрыться, которую не поймать, как солнечные блики.

— I forget never,— вздыхаю я про себя.

Итак, у меня еще пара часов, за которые я должен где-то раздобыть мелованную бумагу — ею я смогу оправдать полученное увольнение.

Поиски в центральных магазинчиках, как и следовало ожидать, конечно же, ничего дать не могли. Я в нерешительности стою у витрины, хотя отказ уже получен. Видимо, заметив мою удрученность, продавщица выходит из-за прилавка, и вскоре возвращается. В руках — небольшая стопка нужных листов.

— Вот, для себя давно уже откладывали... У меня тоже сынок служит... Далеко, на Кавказе.

Не знаю, как и благодарить сердобольную женщину. Ведь в этой жалкой пачке бумаги — мое спасение и шанс на будущее.

Тайком пробираюсь я к обшитому вагонкой нежилому домику, переодеваюсь. Потом также воровски проникаю на территорию части, в штаб. Никто меня не видел в парадке. Значит, официально, для стариков, я где-то «пахал».

Торжественно вручаю майору заветную пачку. Тот и доволен, и приятно удивлен моей «пройдошливостью», на которую он, наверное, не очень-то рассчитывал. Я явно заслужил его расположение, что очень важно на будущее.

Затем возвращаюсь в дивизион. Подвыпивший рядовой дед «тренирует» молодежь.

— А, вот еще одна зеленка, из новых. Становись в строй!

— Да пошел ты!..— не выдержав, огрызаюсь я и получаю по шее. Солдатские будни входят в свою привычную колею.

НАЧАЛО ОХОТЫ

Однажды, когда я в помещении дивизиона усиленно прочищал канализационные трубы при помощи специального стального троса, меня окликнул Володя Шунков, который на мое счастье случился неподалеку.

— Беги к аппарату дневального. Тебя.

Я невольно насторожился. По внутренней войсковой связи, которая

действует через строго контролируемый коммутатор, обычно кто-то из офицеров может связаться с сержантским составом или прапорщиками, чтобы отдать команду. С солдатами, кроме дневального, никаких переговоров обычно, конечно же, не ведется, а за засорение каналов связи посторонними разговорами можно схлопотать весьма серьезное наказание. Время звонка между тем было выбрано обеденное, когда, как правило, офицеров и прапорщиков редко застанешь в частях. К тому же связист на коммутаторе просто не станет устанавливать связь без служебной надобности. Эти соображения автоматически, молниеносно прокрутились в голове, пока я бежал к телефону.

В трубке услышал такой знакомый, как всегда спокойный голос Рустама.

— Андрей, ты?.. Рядом никого нет, кто мог бы нас подслушать?..

— Нет!..— ору я что есть мочи.

— Хорошо. Времени у меня очень мало... Мы случайно услышали разговор. Шамов и компания подозревают, что это ты запер их в каптерке. Считают, что ты знаешь, что-то про смерть Ларика... Они позвонили кому-то своим в пятом дивизионе, называли твою фамилию. Будь осторожен: тебя будут искать, а если найдут, попытаются сделать какую-нибудь гадость — «темную» или еще что-то такое. В общем, тебе будут мстить.

— Спасибо тебе, Рустам, дружище!.. Как расследование с Лариком? Как наши ребята?

— С Лариком глухо. Вроде бы как считают доказанным самоубийство. А ребята, вот они, рядом, передают тебе огромный привет. Жаль, что тебя отправили. Но тебе так лучше, конечно. Держись!..

— Держись, держись!..— слышу я голоса наших зеленых. Связь обрывается. Я еще сжимаю в руке трубку. Понимаю, на какой риск пошел Рустам, уговорив связиста и осмелившись звонить через коммутатор.

Только сейчас, расставшись с ребятами своего призыва в Черных Кольцах, с которыми и пообщаться-то по-настоящему некогда было (все набегу, урывками), в их бодрящем «держись», прозвучавшем по телефону, почувствовал я их симпатию ко мне, ранее сдерживаемую. Не принято как-то в армии проявлять чувства...

Я передал Володе Шункову содержание разговора.

— Насчет наших не бойся,— заверил он.— У нас ребята тертые и на слово, каких бы мерзостей шамовские дружки ни наговорили, верить никто не будет. Не привыкли у нас на слово-то верить... Будь с нами — в обиду не дадим.

Рустам предупредил меня как нельзя кстати.

Большой плац в артчастях опоясан стенами П-образного здания, где находятся и штаб, и склады, и расположения личного состава. Вечерние поверки проводятся здесь для всего артполка. После очередной поверки ко мне подошли двое неизвестных солдат из другого дивизиона.

— Как твоя фамилия?

— Смирнов,— не моргнув глазом, соврал я. Они с недоверием уставились на меня. Когда в таком скоплении людей во многих шеренгах кто-то при переключке кричит «Я!», невозможно понять кто. И потому установить мою личность шамовские дружки не могли, на что я и рассчитывал.

— Ты недавно в полку?

— Недавно,— (не стоит слишком увлекаться ложью).

— А служил в Черных Кольцах?

— Каких Кольцах? Я служил в Выборге, в комендантской роте.

— Это не он,— говорят они между собой и уходят.

На сей раз опасность миновала. Но расслабляться нельзя. Я должен быть всегда готов или к нападению, или к тому, чтобы обвести своих противников вокруг пальца.

Тянется обычная рутина службы. Кто-то неведомый назначает меня в наряд за нарядом, и я исправно и безропотно денно и ночью кручусь, как белка в колесе. Редкие перерывы между нарядами заполнены погрузочно-разгрузочными, мелкими строительными или привычными бессмысленными работами. Когда я дневальный, со мной спасительный штык-нож. Слишком много у меня наболело, и десятки раз мысленно я прокручиваю такую ситуацию: вот меня окружают, их много, и я хватаюсь за оружие... Не посмею унижать себя, буду драться до последнего. Решение твердое. «Пусть только попробуют!»— говорю себе. Я уже далеко не то бесправное и безропотное существо, которое пригнали на посмешище распоясавшимся сержантам и дедам. Терпение потихоньку лопают с каждым минувшими сутками, и его место занимают жестокость и безоглядность. Угрозами меня не устроишь.

Жаль, что штык-ножи обычно тупые. Они не закрепляются за кем-то постоянно, каждый раз нож попадается новый. Этими ножами и хлеб режут, и накипь в унитазах счищают, и лучину на кухне щиплют, и дрова колот, и проволоку стригут. Но когда на поясе даже и такой нож, на душе спокойнее.

Я знал ребят из зеленых, которые полагались не на нож, а на парочку боевых патронов, которые тайно носили при себе. Они тешили себя надеждой, что, когда им выдадут автоматы, которые чаще носят без боекомплекта, для показухи, у них появится возможность всадить пулю в самого ненавистного истязателя и хоть на миг оказаться победителем. Большею частью боевой патрон в этом случае служил скорее самоутешением, неким амулетом, укрепляющим веру в то, что в крайнем случае выход всегда есть. Человек так устроен: он привык рассчитывать на что-то или кого-то, на друга, провидение, бога, судьбу или простую мифическую справедливость. А здесь зачастую он может рассчитывать только на самого себя.

Иногда кого-нибудь все же доводили до настоящего отчаяния, до того крайнего предела, когда действительно нет иного выхода, а вокруг никого, кроме врагов. И тогда беспроволочный солдатский телефон передавал скудные сообщения: в какой-то части продырявили грудь сержанту или очередному садисту выпустили кишки. Тому, кто был доведен до отчаяния, естественно, светил дисбат. Тут уж, извините, приходилось выбирать. Однако, если получивший отпор не имел слишком серьезных ранений, дело заминалось, так как «неуставные отношения» в природе вещей как бы не существовали, но прокуратура-то была осведомлена о них прекрасно и старалась быть на стороне жертв.

В прессе иногда проскальзывала информация: солдаты похитили автоматы и ушли из части, да еще пристрелили кого-нибудь из сослуживцев. Для обывателя тут все ясно: бандиты, одним словом. Не оправдывая, конечно, этих солдат, я никогда не поверю, что нормальный человек решится на такое просто так. А в армии, судя по заключениям медкомиссий, все нормальные. За строчками криминальной хроники мы читали другое, непонятное тому, кто не был знаком с этой стороной жизни: люди, живущие вне закона, вынуждены

преступить закон.

Разные мелкие стычки со старослужащими, конечно, возникали и на новом месте постоянно, но они не были связаны с охотой, затеянной на меня шамовскими корешами, так как меня до сих пор «не вычислили».

Как-то один детина из соседнего дивизиона поманил меня к себе с игривостью педераста и, явно шантажируя своим чересчур крупным телосложением, приказал убирать за него в подсобках. Естественно, я грубо его выругал. Он угрожающе надвинулся на меня, перебирая набор известных расхожих «страшилок»: «Сегодня в дивизионе песни петь будешь, петухом кукарекать» и т.д. На что я столь же угрожающе надвигался на него и проговорил: «Сейчас своих свистну, вот они тут рядом, за столовой, и петухом кукарекать будешь ты. Только не в дивизионе, а прямо здесь».

За столовой и в самом деле копошился кто-то, но вовсе не «свои». Однако «страшность» с детины как водой смыло. Он сделал вид, что улыбается, все свел в шутку и боком смылся из подсобок.

Враждуют не только призывы. Свои симпатии и антипатии есть и внутри их самих. И каждый из нас, зеленых и молодых, со временем научился использовать этот антагонизм в своих интересах. Если кто-то был против меня, то всегда находилось множество людей, которые поддерживали именно мою позицию и были солидарны со мной — открытие, которое подтвердилось и в будущей свободной жизни. Если я имел врага, то можно было оставаться уверенным в том, что наверняка его не любили и многие другие. И при случае они незаметно старались устроить так, чтоб в выигрыше оказался я.

Помню, когда мне было лет шестнадцать, поехали мы классом на погранзаставу к «шефам» (тогда такое шефство было модным). Солдат, который выступал в качестве экскурсовода, насколько я теперь понимаю, дед, отдавал приказы раздатчику пищи. И мне запомнился тон приказов этого с нами добродушного парня — злобный, с оттенками отвращения, так что невольно отвращение это передалось в нашем восприятии и на личность раздатчика. Мы решили про себя, что раздатчик чем-то провинился и заслужил такое отношение. Теперь-то я знаю, что он был просто-напросто «зеленым»...

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА

Наконец, наступило лето. Его отрадой было то, что иногда нам украдкой удавалось искупаться в мелководном заливе. Когда нас отправили на работы за пределы части, водитель остановил машину в безлюдном местечке на берегу пресноводного фьорда. Мы разделись и бросились, в чем мать родила, в теплую воду. Плынешь в ней, словно в райской купели, среди лилий под сенью огромных трехствольных деревьев, в окружении диких скал, доплывешь до заветного каменного острова-площадки, выберешься на него, стоишь в теплыни, потом опять в воду, на берег. А кругом кувшинные поля и островки...

Приметой начавшегося лета стало прибытие студентов. В институтах с военными кафедрами на студентов надевали военную форму месяца на два, после чего присваивали лейтенантское звание и отправляли «на дембель». Естественно, об армии студенты представления не имели, и жили эти два месяца, по нашим понятиям, неслыханно разнузданной жизнью, которая не имела ничего общего с нашим прозябанием.

После их заселения под окнами казармы, где они расквартировались, вмиг образовались беспорядочные мусорные кучи — такие, что обычно украшают территорию студенческих общежитий, от грязных газет до консервных банок и пластиковых бутылок. Что поделаешь! Пребывание в форме было для них веселой, не слишком обременительной экскурсией... Даже самый непутевый солдат не стал бы мусорить, так как сотни раз вылизывал плац или дорогу. Сутками, неделями, месяцами... Но студенты еще не знали, что такое труд, причем, не то что бы какой-то разнообразный, а совсем иной — нудный, примитивный и намеренно доведенный до бессмысленности и поругания всего человеческого в человеке. А для нас он имел единственный смысл — был средством уничтожения времени, не принадлежавшего нам. Возможно, они никогда не узнают в своей жизни, что это такое. Но мы не завидовали им: они были так же далеки от нас, как инопланетяне.

Старики и черпаки все чаще стали требовать от меня привезти из бывшей части парадную форму, которую я там якобы временно оставил, а на самом деле хранил на черный день на чердаке деревянного дома. Теперь было совершенно ясно: ее собирались у меня конфисковать, ведь на носу демобилизация, и проехаться в новой форме до дома почиталось у определенного контингента недурным тоном.

Я попал под подозрение, что вожу их за нос. Требования становились жесткими, мне угрожали. А посылки все не было.

С приходом июля установился иссушающий зной. Он был хорош в прохладе моря, под тентами пляжных шезлонгов, вблизи городских фонтанов. Но он был изнурителен для тех, кто работал под слепящим солнцем, купаясь в собственном поту.

Меня поставили среди солдат других подразделений оцеплять территорию части колючей проволокой по периметру уже вкопанных столбов. Один солдат удерживал конец проволоки, а двое тащили продетый на лом тяжелый мот; раскрутив изрядный кусок, ее закрепляли на столбах. Проволока то и дело путалась, сцепляясь колючками.

Солдаты были мне не знакомы.

— Чем занимался на гражданке?— спросил наблюдавший за нами сержант.

— Ничем,— ответил я.

— В институте учился,— не без удовольствия продал меня один из сослуживцев. Я сумрачно взглянул на него: я давно заметил бытовавшее в армии мстительное желание многих насолить тому, у кого было высшее образование или кто имел какое-либо отношение к нему. С одной стороны, это объясняется глубоко сидящей в подсознании неприязнью «народа» к интеллигенции и желанием как-то на ней отыграться. А с другой, неравенством между обычным «воякой» и имеющим вузовский диплом, ибо последний служит на полгода меньше.

— Институт?— вызывающе спросил сержант.— Попал бы ты к нам, мы бы показали тебе институт!..

— Я его не закончил. Служить буду столько же, сколько и вы,— сказал я, чтоб как-то снять их сосредоточенное на мне.

Новобранец, с которым я молча тянул мот, заинтересовавшись мной, судорожно прилип, тихо говорил, что там, среди этих дикарей, ему не хватает воздуха, что он хотел бы перебраться к нам. Я слушал его угрюмо — сам был таким еще недавно. А ныне равнодушие и хроническое, сквозь зубы,

терпение сковали меня, словно дурное тяжелое похмелье. Я не желал никаких новых друзей, душещипательных разговоров. Я думал о том, что случится, если в ближайшие дни не раздобуду парадку.

Новобранец замолк. Мы поменялись местами с тем, кто держал конец проволоки. Внезапно она сорвалась, но я вовремя схватил ее. Колючки впились в руку. Снаружи они оставляли лишь малозаметное отверстие, зато проворачиваясь, рвали ткани изнутри, и из проколов сразу начинала сочиться темная, обильная кровь. Но я продолжал терпеть и держать сталь — в противном случае колючка немедленно бы спружинила, изуродовала лицо, выколола глаза... Свободной рукой осторожно высвободил я себя из плена, преодолевая боль. Удерживая натянувшуюся опасную пружину, приходилось терпеть и укусы обнаглевшего оводья, тучами роящегося над головой и пользующегося моей временной беспомощностью. Кровь сворачивалась медленно, слишком глубоки были раны, и еще долго продолжала сочиться. От укусов зудела кожа. О, как это напоминало нашу теперешнюю жизнь!.. В ней нет хорошего или плохого. В ней есть только плохое или слишком плохое, поэтому из двух зол выбираешь меньшее. Если тебе неважно, ты должен терпеть. Иначе будет несравненно хуже.

Тебя унижают и оскорбляют — и ты молчишь. Тебя бьют — и ты не смеешь ответить. Потому что твоя задача сберечь себя. И поднимает на тебя руку не самый смелый или сильный, но самый низкий, заранее знающий, что он-то вне опасности, а тебя в случае чего разорвут на куски...

Наденешь хэбэ несмотря на жару, и совсем забудешь о том, что куртка вряд ли спасет от жала кровососов, а стальная колючка легко раскромсает ее в клочья...

К полудню старшие ушли, и мы получили возможность передохнуть. Глаза слипались сами собою, давали знать о себе бессонные ночи. Услышав, что я одного с ним призыва, дневальный по примыкающему автопарку предложил:

— Поспи, зема, в ПРП.

Я кивнул, потом спросил:

— Что такой грустный, дружище, как будто вагон угля грузить заставили?

— Просто я на выходные съездил домой, в Питер.

Все было ясно.

ПРП — передвижной разведпункт — раньше мне видеть не приходилось. Эта махина похожа на средний танк, только не столь грозная и без пушки.

В ПРП я вытянул ноги куда-то в пустоту. Спина утонула в удобном кресле-сиденье, скорее напоминающем лежанку. Под голову положил чью-то брошенную шинель и упал в забытие. Сладкие и печальные грезы поплыли в сознании. Снаружи стояла жара, а здесь, за закрывшимся люком, в тесноте среди приборов и датчиков, было по-приятному прохладно.

Проснулся я от шума. Что-то радужное и безмятежное ушло. Досада, все было лишь снами! Глянул в смотровые щели, подчеркнуто и контурно дающие наружный вид: солдаты готовились тянуть колючку. Отпрянул назад. Глаза едва привыкли к мраку в узких лабиринтах-лазах внутри ПРП. Нашупал ручьять люка.

Оказалось, спал я недолго — всего минут двадцать, двадцать пять, но их было достаточно, чтоб восстановить силы. Этакая свалившаяся внезапно роскошь, она была важнее сейчас любого сытного обеда, и я ее получил. Ну а

голод можно компенсировать и краюхой припрятанного хлеба! Леонардо да Винчи, говорят, спал по пятнадцать минут каждые четыре часа, в несколько раз укорачивая продолжительность сна.

Часов в пять вечера майор из строевой, видимо, памятуя прежнюю мою удачную вылазку за мелованной бумагой, разыскал меня, снял с работ и велел срочно вырваться в город, чтоб купить кое-что по мелочам из канцтоваров. Предложение его не выглядело слишком соблазнительным: близился конец дня, время для себя вряд ли от этого вояжа выкроится, а тут еще усталость... И все же я сразу расценил его как удачно подвернувшуюся возможность еще раз наведаться на почту насчет парадки, хоть и без особых упований на удачу.

Путь мой лежал мимо живописного парка, мимо студенческого общежития. Распахнутые окна, жизнерадостная музыка, счастливые молодые голоса, восторженный смех, сквозь полупрозрачные шторы играющие красками цветные тени... А я был здесь, по другую сторону, и достать до этой веселящейся молодежи было также невозможно, как и до недавнего минувшего. Но я поймал себя на чувстве, что меня не тянет в него, в веселые и тревожные студенческие годы и мир, который я когда-то постиг в совершенстве, и в который поздно теперь возвращаться. Он — хорошая, прочитанная до конца книга, и ее больше не хочется перечитывать всю целиком. Лишь так, одолеет иногда желание перелистать некоторые листки, подержать их между пальцами, пробегая глазами знакомые строчки. Всему есть свой час, и то, что нам кажется вершиной желанного и вечным пристанищем, в один миг способно потерять весь смысл, оставляя нас осиротевшими, брошенными и одинокими...

На почте меня ждала посылка до востребования. Сердце радостно заколотилось. Поспешно вскрыл ее гвоздем. Парадка! Правда, с голубыми летными погонями, но это второстепенное обстоятельство.

На обратном пути, углубившись в дальний уголок парка Монрено, я примерил ее. Мундир еле на меня налез, а брюки вообще не сходились, были узки и коротки, словно на Чарли Чаплине. Ну да мне-то что: ее все равно украдут. Хотя, как знать. Таких недоростков, соответствующих ее размеру, надо еще поискать!

Вечером я торжественно вручил парадку деду-каптерщику, и вокруг тут же, словно зеленые навозные мухи, засновали дембеля, чтоб присвоить ее себе, пару часов проехаться в ней в электричке до дома, и тут же выбросить, забыв о службе, как будто ее и не было. Каптерщик разве что руки не потирал — так он был доволен. Дембеля бросились примерять добычу. Первой «плюхой», полученной каптерщиком, был цвет погон и петлиц.

— Какого черта?!. Это же парадка летуна!

— Такую выдали,— пожал плечами я.— Погоны перешить не долго.

— Вот ты сегодня и перешьешь.

Видели бы вы выражение лица каптерщика, когда все дембеля и старики примерили парадку, но она никому не подошла, так как такого лилипута не нашлось.

— Ты чего нам принес?!— завопил каптерщик неистово.

— Такую выдали,— невинно пожал плечами я.— На меня она полгода назад подходила в аккурат. Наверное, я немножко подрос.

Каптерщик чертыхался, да и только. Ему не оставалось ничего, как

поверить, ибо все выглядело правдиво. Он и вообразить себе не мог, что я всех надул.

Главное, результат был достигнут. Старики и дембеля от меня отвязались насчет формы, и я свободно вздохнул.

Перед вечерней поверкой нам разрешили искупаться. О, море вызывает совсем иные эмоции, чем теплые и приветливые озера вокруг. Плоские острова плывут в голубом бледном молоке, как листья огромных кувшинок. Кругом чудные маяки, дикие громадные валуны, обступающие берег залива. Одинокая сосна, как хищная птица, расставив свои когти-корни, уцелела на отвесной скале. Первородная красота, которую не хочется оставлять...

После поверки я должен был идти в наряд по кухне. Несмотря на поздний час, ярко светило солнце на горизонте (стояли белые ночи). Волшебная, сюрреалистическая картина...

Усатый повар-сержант по кличке Удав, прозванный так за непомерно длинный рост, а также за соответствующий этому пресмыкающемуся образ жизни, назначил при распределении обязанностей (через знакомого прапорщика) одного зеленого и меня в кочегары. Нам следовало встать раньше остальных — в три часа ночи. Почему же именно меня? Это показалось не случайным. Чувствовалось, он обратил на меня какое-то внимание, исподтишка присматривался ко мне. Может быть, я привлек его быстротой своей работы, терялся в догадках я. И тут же возникли сомнения.

К утру котлы кипели. Повар засыпал туда вермишель. Теперь, когда основные наши обязанности были выполнены и мы могли отдохнуть, Удав поставил меня на мытье посуды, сняв с работы тех, кто при распределении дел должен был ее выполнять. Причем те, снятые, всю ночь спали, и они вовсе не были стариками, а одного со мной призыва. Теперь ясно становилось, что пристальное внимание ко мне Удава не случайно. Но чем оно вызвано, я не знал.

Позднее Удав попробовал ограбить меня заурядным армейским способом: попросил поносить мои часы до окончания наряда. Я их ему не отдал, сославшись на то, что тогда не смогу ориентироваться в своих обязанностях (часы мои были старенькие, невзрачные, иначе их бы уже давно отобрали силой).

Я очень быстро освоил мытье лоснящихся от жира бетонных полов (их легче очищать старым вафельным полотенцем) и мытье посуды в три приема: одним резким движением вытряхиваешь остатки пищи в жбан для кормов, потом тарелка бросается в кипяток, почти налету обтирается тряпкой, окунается в дезинфицирующий раствор, потом в обычную воду и ставится на полку. Движения доводятся до автоматизма, и тысячи грязных посуды тают на глазах. Отвращение к чужим объедкам улетучивается через пару минут: их перестаешь таковыми воспринимать.

Когда посуда после завтрака была вымыта, незаметно приблизилось время обеда, и уже предстояло раздавать пищу. Удав то и дело норовил подстроить мне какую-нибудь гадость. Например, большущие алюминиевые кастрюли без ручек с раскаленным супом или кашей он подсовывал именно мне. Как хочешь, так и носи. Я носил их, прихватывая стянутыми на ладони рукавами хэбэ.

Вечером, когда наряд для всех закончился, я вновь оказался поставленным

на кухонные работы, и все повторилось сначала во всех подробностях. Я недоумевал, кто держит на меня зуб. Парадка здесь была не при чем, с ней все утряслось. В полку меня знали мало, «выяснить» отношения с дедами я не успел. Но минувшие месяцы службы приучили меня к равнодушию, и я молча драил сотни квадратных метров жирных полов (не все ли равно, ведь время в любом случае отнято у тебя).

Я драил и драил их бесконечно, сутки, вторые, третьи, доведя до совершенства свое мастерство, так что придраться было ровным счетом не к чему.

Если мне что-то и снилось в два положенных мне часа на сон, так это нескончаемые полы. Я забыл, какого цвета небо, какого пахнет свежий воздух. Одно было ясно: мне не дадут ни минуты, чтоб разогнуть спину и свободно вздохнуть. И поняв это, я плюнул, и вместо того, чтоб мертвецки свалиться в закутке и проспать очередные положенные мне два часа, выбрался из проклятого склепа-столовой на плескавшийся рядом берег зеленоморья.

В ночи вода шла полосами — темно-зелеными, светло-синими, даже померанцевыми от света маяков. Острова были настолько многочисленны, что они местами сливались в одну сплошную линию. А небо — чистое, восхитительное в своей устоявшейся синеве, и огромные деревья распростерлись в нем, словно млечная туманность. Нет, жизнь прекрасна только ради этой одной минуты свободы!..

Однажды в разгар моих трудов на кухню зашел Удав. Поставив ногу на табурет и опершись локтем о колено, он с ухмылкой наблюдал за моими действиями, а потом сказал:

— Сынок, тебе привет от земли моего, Шамова. Он испытующе на меня смотрел, ожидая, очевидно, встретить страх, изумление. Сердце мое забилося, но я сжал волю в кулак и спокойно произнес, как будто ничего не случилось:

— Ему тоже большой от меня привет!

Это Удава взбесило.

— Что, думал, самый умный? Не вычислим, думал? Почему полы грязные? — вдруг завизжал он, как истеричная баба. Толкнул ногой большой жбан с жидкими помоями, и его содержимое растеклось по блистающему чистотой бетону.

— Щеткой, зубной щеткой будешь сейчас убирать!

— Сам будешь убирать, скот! — взорвался я.

От удара в челюсть я немедленно улетел в ванную, в которой плавала потрошенная рыба. За спиной Удава возник его помощник, тоже изрядный и мрачный верзила, да еще какой-то дух. Едва я вылез из ванны, как меня встретили новым ударом. Я переходил из рук в руки, словно волейбольный мяч.

— Не бойсь, — тяжело дыша говорил Удав, нанося побои, — мы тебе лицо портить не будем. Мы тебе почки, печень отобьем, и никто об этом не узнает.

Я упал на пол с помоями, и меня настигли пинки. Когда поднялся, то вновь полетел от удара, но успел схватиться за ручку стоящего на плите котла с горячим супом. Он с грохотом сорвался на пол, и вареный горох обжог лицо поднявшимся вверх паром. В следующий раз, когда я полетел от толчка, я опрокинул на моих противников стеллаж с металлической посудой. Она со

звоном покатила, но я тут же оказался в ванной с окунями. Удав схватил меня за голову и начал методично окунать в воду. Я едва успевал набрать в легкие воздух, я захлебывался.

Видимо, утомившись, они бросили меня и ждали, когда я выберусь из ванны, чтоб вновь толкнуть туда. Я плыл среди потрошенной рыбы, пытаюсь отдышаться, и вдруг заметил то, что до сих пор ускользало от взгляда: на нижней полке одного из стальных разделочных столов, стоящих рядом, лежал длинный, отточенный, как бритва, хлебобрез...

Вот она, колючая проволока, которую держишь в ладони, терпишь уколы, зная, что нельзя ее выпустить. А если выпустить?..

Выскочив из ванны, я схватил нож, бросился вперед и наотмашь, словно шашкой, полоснул Удава где-то между грудью и животом. Куртка хэбэ в доли секунды рассеклась надвое, словно расстегнулась, и на теле Удава появилась длинная кровавая полоса. Удав сжался и остановился. Те двое словно остолбенели. Видно, они решили, что я вскрыл Удаву брюшную полость. Помощник повара попытался отобрать нож, но я сделал секущее движение по воздуху, и он отпрянул.

— Слышите, вы, гады,— орал я из последних сил с бесстрашием обреченного,— я вас запомнил, я найду вас и вот этим ножом перережу глотку ночью, во сне, каждому!..

Их робкие на сей раз попытки подступиться ко мне оказались напрасны. Длинный, почти как сабля, хлебобрез сводил на нет все их преимущества. Бритоголовый дух вообще убежал, а помощник повара повел прочь зажавшегося и охающего Удава.

Я остался один среди жуткого погрома в кухонном помещении полковой столовой. Глянул на себя в только что разбитое зеркало и не узнал: уши были совершенно синие, как у покойника (за них держал меня Удав, когда бил затылком об стенку). Глаза, несмотря на то, что лицо мне не трогали, сплошь оплыли синевой. Левая рука не сгибалась от адской боли. Я понял, что мне поскорее нужно отсюда убраться, пока эта троица не опомнилась. В дивизион было идти опасно, и я задворками пошел в сторону моря, в лес.

Прилег во мху, осматривая раны. Следовало все хорошо взвесить и проанализировать без горячности. Они, конечно, и сами не ожидали, что их налет так плачевно кончится. Хотели меня «научить». Однако, когда дело доходит до такого погрома и поножовщины, кому захочется рисковать из-за какого-то Шамова, пусть хоть трижды «земы». Так мне думалось. Далее, вряд ли я мог глубоко задеть Удава. Скорее всего, то был поверхностный порез.

В конце концов я решил, что пойду в дивизион вечером, как ни в чем не бывало. Я был доведен до такой степени запредельного возмущения, отчаяния и бессилья, что внезапно потерял всякий страх перед будущим. Кроме того, на моей стороне было то обстоятельство, что эта троица в дивизионе — люди чужие, всю свою службу проторчавшие в столовой. Возможно, у них найдутся кореша, знакомцы, но всеобщей поддержки они не встретят. Таких отшельников-блатников не любят. И если они сунутся, парни моего призыва покажут им, кто есть кто.

Впрочем, я успокаивал себя лучшим вариантом, а какой сюрприз могла преподнести действительность, известно только провидению. В голове стоял туман, меня шатало, и я чувствовал нестерпимую слабость.

ГОСПИТАЛЬ

В дивизионе было тихо. Утром, однако, я еле встал. Внезапно подскочила температура, я не мог передвигаться. И тогда я оправился в медпункт, где сказал, что, работая, подскользнулся и сильно ударился головой.

— Что тут творится,— разводит руками фельдшер.— Один себе умудрился кожу на животе порезать, когда рыбу разделывал в ванной, а другой головой сам бьется... А уши почему синие?..

(Ага, значит, Удав уже тут побывал, и у него ничего серьезного).

Фельдшер поставил диагноз «сотрясение мозга средней тяжести» и пообещал выписать направление в окружной госпиталь. Узнав об этом, командиры окрестили меня «косарем», людей, дескать, у них не хватает, а я симулирую. «По-хорошему» советовали порвать направление, в противном случае гарантировали «веселую жизнь» после выписки. Я отвечал, что и так живу «веселой жизнью», и она меня вовсе не пугает, а здоровье превыше всего. Так я оказался в окружном госпитале.

Нежнокожая, пышущая юностью и легким ароматом духов медсестра из приемного отделения вышла куда-то, и, вернувшись с градусником, первому протянула его почему-то среди прочих солдат именно мне. Я успел бегло глянуть на него краем глаз — служба приучила все замечать до тонкостей — и обратил внимание, что на нем уже стояло «37,5°C». Случайность?.. Между прочим, после меня термометр был встряхнут медсестрой до полного сжатия столбика, тщательно проверен, и лишь после этого передан другому. Понравился я ей, что ли?.. Впрочем, поблажка медсестры оказалась напрасной: температура перевалила за тридцать восемь. Остальных солдат прогнали вон: у них не было температуры, и никто разговаривать с ними больше не стал.

С Катей — так ее звали — я разговорился довольно быстро о том о сем. Она оказалась весьма словоохотлива и даже сказала, где живет.

Через несколько часов откуда-то набежало штук пять майоров медицинской службы, причем, на доктора походил только один из них, интеллигентный и внимательный, остальные ничем не отличались от обычных стройбатовских солдафонов. Близстоящий майор с криком и визгом отобрал у меня пижаму, сообщив, чтоб я зарубил себе на носу, что отныне единственная моя одежда — это нижнее белье, и отправил к начмеду в кабинет. Мне пришлось идти в коридоре мимо женского персонала, в том числе и Кати, в нижнем белье — рваных, не первой свежести кальсонах с незастегивающейся и растопыренной из-за отсутствия пуговиц ширинкой. Наверное, в этом одеянии я не мог вызывать ничего, кроме отвращения. Шокированные дамочки поджали губки, а еще недавно предрасположенная ко мне Катя удивленно и разочарованно на меня взглянула. Все мои идиллические фантазии продолжить с ней знакомство в мгновение ока испарились. Я был опозорен.

— Ты что, ох...ел, свинья синеухая! — завопил другой майор, начмед, когда я явился к нему в кабинет.

— Но мне приказали...

— Вон! И чтоб явился как положено, в пижаме!

Мне вновь пришлось срамиться через весь коридор. Экспроприатор моей пижамы выматюгал меня не менее красочно и швырнул ее обратно.

К начмеду пустили меня на этот раз не сразу. К нему успел зайти посетитель, и я поджидал у двери. Из кабинета слышалось: «Шел, запнулся за трос, упал, ударился подбородком о пол слева. Перелом челюсти», — читал начмед, видимо, чьи-то объяснения и комментировал их. — При падении остается царапина или ссадина, а здесь — отек... Что дальше... «Во сне упал с кровати и ударился о табуретку...» Ушибленная рана губы слева, сотрясение мозга.

«Играл с сослуживцами, убежал в сушилку, не успел повернуться и ударился о батарею». Ушиб левой почки. Судя по следам на спине, умудрился удариться о батарею несколько раз. Как это, товарищ подполковник?.. Чудеса да и только. Полтергейст.

— А вы что, товарищ майор, — слышался голос посетителя, — показатели по травматизму хотите испортить? У меня образцово-показательная часть... Нас устраивает графа «личная неосторожность». С техникой безопасности все нормально. Неуставщины нет. Ничего другого нам не нужно.

— Тогда в следующий раз скажите вашим бойцам, чтоб писали что-нибудь более правдоподобное.

— Как это понимать?..

— Как есть, так и понимайте.

Посетитель удалился, а мне позволено было войти. Начмед начал со мной беседу. Вернее, он начал орать на меня, как на только что напакостившего на персидский ковер шелудивого кобеля, не считая нужным скрывать свое омерзение. Впрочем, я заметил, что он разговаривал так со всеми солдатами, которые давно, наверное, стали для него не более чем неким неодушевленным материалом, о который позволено безбоязненно вытирать грязные ноги.

— Ну, докладывай, кто тебя башкой долбанул!

— Я же сказал, упал.

— Рассказывай это своему ротному! Да по твоей роже и не специалисту видно, что тебя несколько раз об стенку долбанули и за уши держали. А что если комиссия окружная, хочешь меня дураком выставить, чтоб погоны с меня слетели?! До чего вы мне надоели, драчуны, засери, когда это кончится!.. Вот что, кладу тебя с диагнозом «сотрясение мозга», и если будет комиссия, чтоб никому на глаза не попадался, линией из палаты куда угодно. Подведешь меня — в этот же день обратно выпихну получать п...дюлины дальше. Свободен!

Я был благодарен начмеду за его подарок, а оскорбительный тон воспринял, словно бы сквозь обитую звукоизолирующим материалом стену. То, что начмед имел своеобразный взгляд на солдата, я ни в коей мере не собираюсь здесь осуждать, отнимая таким образом право каждого на свою собственную точку зрения.

Что ж, если собрать воедино мои злоключения, то я вполне заслужил целый месяц госпиталя, а там трава не расти. Даже на Удава я перестал сильно обижаться, тем более он получил свое.

В палате на сакраментальный вопрос «Сколько прослужил?» я объявил всем, что я дедушка, и всякий интерес ко мне был утрачен. Проверить, правда ли это, было невозможно. В госпитале, в отличие от всяких лазаретиков и санчастей, от больных скрывают информацию друг о друге, что совершенно

правильно.

С этого дня никто мной больше не понукал. Меня окружали юные создания женского пола в белых халатах, похожие на ангелов. Меня кормили бифштексами, рассыпавшейся на тарелке ароматной рыбой и картофельным пюре на сливочном масле, и никто это богатство не собирался отнимать! Я читал целыми днями книгу за книгой, ходил по длинным коридорам, размышляя о прочитанном, а вечерами в кругу больных, которые были просто людьми, а не зелеными или дембелями, слушал массу занимательных историй. Это был сущий эдем.

Очень широкие и длинные коридоры заканчивались стеклянными стенами, разбитыми на большие квадраты, а сквозь них виднелось море, его многочисленные фьорды, поросшие лесом лагуны, фиолетовые шхеры, маленькие эстуарии, острова, красные маяки, белые паруса яхт, желтые и черные линейки дорог и дорожек в прибрежной полосе. Чудный, дикий край, осколок безымянного лета!.. Выберешься в солярий, на крышу — какой аромат стоит от цветущей сирени, какая благодать!.. Серовато-голубое море зовет и манит, словно оно выражает саму романтику человеческой жизни, если она где-то еще существует.

В стороне от моря — город. Слева — космический, с телебашней и новостройками, а справа — земной и старинный город замков и феерических детских снов. А когда поднимется солнце, покажется, что все дома и крепости сотканы из солнечных лучей, из самого солнца. Даже темнея к вечеру, они по-прежнему остаются овеянными золотым светом востока, и лишь за полночь погружаются в забвении запада.

Здесь, наверху перед тобой открывается еще один город, о котором ты и не подозреваешь, находясь на земле — город крыш, старинных причудливых надстроек, башен, резных флюгеров, дымоходов с вырезанными из листов стали и меди гербов, каравелл и стрелок, воздушных мезонинов, электрических гирлянд.

Говорят, есть два Выборга. Один зримый, реальный, русский. Другой — финский город-призрак; он остается лишь в сознании старых жителей Суоми, навеки покинувших дом своей юности под напором наших войск. Об этом говорила мне и Ята, прадеды которой похоронены там, за парком Монрено; на поклон к ним она ходила.

И поныне, когда я вспоминаю тот край своей жизни, мне тоже представляется двойственный мир: серые тревожные будни перемежаются в нем с каким-то удивительным ожиданием открытия. Наверное, такая приподнятость чувств вопреки всему свойственна только юности.

По утрам море серебрится от ряби, над его островками стелются клубы дыма. По серебристой сини за зелеными куполами деревьев безмолвно движется корабль. Тишину нарушает лишь пение соловьев. Я знал до сей поры иное море, южное, теплое, безудержно-бурное, открытое до горизонта, словно пустыня. А здешнее море — тихое, лесное, таящее в недрах своих вод и островов легенды древних скандинавов...

У столика дежурной медсестры стоит прозрачный пластиковый шкафчик с дверцами, рассеченный на множество ячеек. В каждой — полоска с фамилией больного и лекарство, которое нужно употребить. Бросаю пилюлю в рот и направляюсь в процедурный кабинет, где мягкие голубые ковры, лакированный металл приборов, осциллографы, пульта, шланги, трубки, про-

вода, кнопки, клавиши, лампы.

Потом иду в водолечебницу. В небольшом зальчике в спину ударяет вода, подаваемая под большим давлением — словно стальные шары в резиновой оболочке. Вода вдавливается в позвоночник, принуждает выпрямляться, вызывая смех. Попадая под ступни ног, струя отрывает их от пола, щекочет, заставляя вздрагивать ноги в коленях, словно от удара молоточка невропатолога.

Кормят нас в столовой, на стенах которой изображены средневековые замки. Мы рассаживаемся и ждем, когда «официанты» из выздоравливающих разнесут блюда.

Бойкие настырные мальчики от безделья атакуют миловидную, знакомую медсестричку Катю. Самая примечательная черта в ее внешности, пожалуй, неумолимо сладостное движение, трогавшее всю ее точеную фигурку, когда она не спеша идет по коридору, облаченная в белый халатик.

— Послушайте, Катя, а как вы думаете, тому, кто изобрел «утку», дали Нобелевскую премию?..

— Марш по койкам! — командует она. — О чем мне с вами говорить, вы — дети.

Меня она, видимо, дитем не считает, по-прежнему болтая о том о сем. Когда я прошу у нее листок бумаги, она вручает мне целую пачку. А однажды угощает ирисками:

— На, попотчуйся.

Смотрю на виадук, соединяющий две сопки, между которыми переливается вода фиорда. По нему уехал автобус с финской девушкой Ятой. Сейчас по виадуку шел поезд, и казалось, что он бежит по верхушкам деревьев.

Выбравшись из солярия, я снова вспоминаю финку Яту, пышноволосую, голубоглазую и улыбчивую. Потом вспоминаю Ларика, отправленного на «вечный дембель». Здесь правды не добьешься. Но на свободе, когда уже ни от кого не буду зависеть, я вернусь к этому делу. И тогда опять начинаю считать дни.

Каждый из нас до сих пор жил словно бы в изолированных отсеках подводной лодки, мы имели скудные представления о том, что творилось на других ярусах армейской жизни — в «горячих точках», на Крайнем Севере или Дальнем Востоке. А здесь случай свел людей отовсюду. География и судьбы пациентов госпиталя весьма пестры, и из их рассказов складывается необычная мозаика армейской жизни.

Бывший курсант мореходки, отчисленный и угодивший на срочную службу, прирожденный весельчак, сыплет нам байку за байкой. Из его истории понимаем: система в училищах напоминает отдаленно нашу. Высшие курсы помыкают низшими.

— С абитуры у нас просто обходятся: являются к ним в комнату, кладут шапку: «Чтоб через десять минут была полная денег, и не серебра, а бумажных!» По шее никому получать не охота, и деньги у нас в кармане!. Если пожалуешься, потом в училище будет не до ученья... Однажды один наш на каратиста напоролся, тот его отделал хорошенько. Потом лучшими друзьями стали... Тех, кто служил в армии, в училище уважают, не заставляют вкалывать.

Ефрейтор из желдорбата — железнодорожных войск — открывает перед

нами новую страничку. Он похвально тем, какой у них жуткий бардак: уходят в самоволки на недели, а то и месяцы. Наказание — десять суток ареста. Воруют, пьянствуют, мародерствуют. Входит вечером офицер в подразделение призывать к порядку, а у дневального случайно выключается свет, и в офицера летят сапоги и табуретки. Или развозит офицер пищу, налетают старики и захватывают все самое лучшее. Офицер хнычет: «Молодые жаловаться будут». Но его никто не слушает.

Градация по старшинству в желдорбате, как и повсюду, только названия другие: спецы, гуси, фазаны и старики.

Мы слушаем не без удивления. Такая анархия в наших, «нормальных», войсках и не снилась!

Потом прапорщик, бывший «афганец», имеющий несколько ранений, делится своим:

— Когда идешь в селение, где «духи» засели — косишь всех подряд из автомата. Все, что вам по телевизору рассказывают, — сказки. Там любая старуха или подросток в тебя могут гранату исподтишка метнуть. Или ты — или тебя. Все до психоза доведены, и некогда соображать, в кого стрелять, в кого нет.

Доходит очередь и до бывшего осужденного дисбата. Как известно, тем, кто отбывает наказание за воинские преступления, отметка о судимости не ставится. Срок засчитывается им в «почетную воинскую обязанность». В дисбате все те же четыре категории солдат, у каждой лишь свой особый колорит: блатные (соответствующие армейским старикам), приблатненные, черти и опущенные с петухами. Для сравнения, на зоне это авторитеты или ферзи, мужики, шестерки или шныри и опущенные. Офицеров-воспитателей, сержантов, роту караула в дисбате называют «ментами», осужденных военнослужащих — «жуликами». В чем отличие между зоной и дисбатом, определить сложно. И там и здесь несколько рядов заграждений, на вышке часовые, по периметру ходят караульные с собаками. В месяц осужденным военнослужащим разрешается одно свидание (не более четырех часов), одна посылка, запрещено хождение по рукам наличных денег и пользование ларьком. Между тем в зоне усиленного режима в течение месяца разрешаются три свидания (два краткосрочных и одно долгосрочное, до четырех суток) и пользование ларьком. Дисбат — та же зона, та же самая жизнь, те же самые понятия, только называется она дисбатом. Сидят здесь в основном из-за армейской дедовщины и за самоволки — самовольное оставление части. Вместе едят одну баланду — те, кто не выдержал издевательств, сбежал из армии или дал отпор негодьям, и те, кто издевался над убежавшими. Так армия решает проблему дедовщины, когда последняя переступает рамки уголовного законодательства.

Пограничник разрядил мрачное впечатление, произведенное прежним рассказчиком, веселыми историями из своей бытности.

— Иду я как-то зимой менять пост. На вышке часовой, одетый в тулуп с капюшоном — не шелохнется. Ветер подует вправо — его медленно разворачивает следом, подует ветер влево — и его туда же. Меня дурные предчувствия одолели: такое впечатление, что он висит на веревке. Нажимаю кнопку тревоги. В команде спрашивают, что случилось? Часовой, отвечаю, повесился. Идем с проверкой. А он поворачивается лицом: замерз малость.

...Однажды, как всегда, шагаем на смену, а часовой на вышке спит. Снял я с

него автомат, еще спросонья очередь всадит. Бужу его. Не реагирует. Отнес автомат на КП. Ребята говорят — верни автомат, перетрусит, глупостей натворит. Вернул я ему автомат, а он все равно спит. Тут я разозлился не на шутку, еле его растолкал. Он же на меня чуть не с кулаками: не спал, и все тут...

Хорошо слушать разговоры о службе, полеживая на койке; на тумбочке в бутылке из-под молока букет сирени и желтой акации, на окне полураскрытые голубые занавески, за окном голубое небо, а в палате все белое — стены, потолок, шторы, и все это вызывает безмятежные чувства.

— ...А раз,— продолжает пограничник,— разыграл я нашего дневального по роте. Набираю номер, говорю строго: «Рядовой, почему вы звоните по пустякам в штаб, вы ведь знаете, что это запрещено». — «Да». — «Не да, а так точно». — «Так точно»,— соглашается дневальный. — «А вы знаете, кто с вами говорит?» — «Нет». — «Не нет, а никак нет!» — «Никак нет»,— старается он. — «Старший лейтенант,— называю фамилию ротного,— с вами говорит». Но это еще не все. Тут я слышу в трубке голос настоящего нашего ротного: «Кто это вам дал право говорить от моего имени?» Я чуть на губу не сел, ребята: узнал он меня по голосу.

Так идут здесь дни, незаметно и нескучно. Слабость и головокружение постепенно проходят. Синяки тоже. Недели через две несколько ребят из палаты ставят на легкие работы. Трех, среди них и меня, направляют в столовую чистить картошку. Там мы обнаруживаем большую электрокартофелечистку, которой нам категорически запрещают пользоваться, так как она сломана.

— Ну конечно,— соглашается один из нас, электромонтер по профессии,— это же самый первый принцип в армии: все, что может машина, должен делать человек. Вот что, ребята, если вы не возражаете, займитесь пока чисткой, а я займусь машиной. Может, что-нибудь получится.

Мы не возражаем.

Жбан с очищенной картошкой наполнен уже на треть, а электромонтер все еще ковыряется. Мы начинаем косо на него посматривать, как на «шланга». И тут раздается долгожданный вой мотора: получилось! Машина в миг очищает несколько ведер картошки, которые умещаются в ее барабане. Когда дело сделано, монтер отсоединяет в машине какой-то проводок, чтобы вернуть ее в прежнее, нерабочее состояние.

Маленькая хитрость стала нашим небольшим секретом на оставшийся в госпитале срок. Когда нас посылали в незавидный наряд по кухне, мы поручали всю работу машине, сами же валяли дурака, а то и вовсе уходили смотреть фильм в клуб. Иногда менялись более легкими, поручавшимися нам нарядами, на «картофельный», к большому удивлению больных. В конце концов кто-то из офицеров обратил внимание на то, что очищенная картошка идеально ровна, то есть никак не несет на себе следы ручного труда. Да было поздно: пришло время выписываться.

К ЧЕТВЕРТОЙ СОТНЕ СУТОК

Пронзительное, странно-тревожное время — сентябрь. Закончилось лето, а небо по-прежнему глубокое и чистое. Обжигает обнаженное тело прохладным ветерком. Веет от бабьего лета какой-то сокровенной, последней и потому почти зовущей надеждой на дни продлящегося еще тепла, прежде чем уйдет оно в край иной.

Еще нынешний сентябрь эфемерный, неопределенный. Вот уже две недели, как мы живем в перевернутом мире и неизвестно какой стране. С утра до вечера из радиоприемников слышится, что подавлен путч тоталитаристов, и наступило торжество демократии. О том, что распалась великая страна, где мы родились и где собирались жить, Советский Союз, говорилось как-то вскользь. Словно крах был совершеннейшим пустяком по сравнению с этой самой демократией, более того — благом для каждого. Но что за штука наступившая демократия и с чем ее едят, вряд ли кто из нас тогда понимал. Бодренькие же голоса радиодикторов казались неестественными и лишь настораживали. Логика радио- и телеговорунов выглядела по меньшей мере странной, как если бы они рекомендовали ремонтировать неисправный водопровод путем слома крыши и разрушения стен. Или устранять бардак в армии, сдавая ее в плен враждебной стороне и пуская вооружение в металлолом. Было такое ощущение, что какая-то нечисть пробралась на самый верх и творит свой сумасшедший шабаш, пока народ дремлет; но стоит ему очнуться, и через неделю, в крайнем случае, месяц, от нее не останется и следа...

Политзанятия, на которых еще недавно, хотя и изредка, рассказывали о социалистическом лагере и экспансионистских планах западного мира, отменили. Какое-то время нас словно бы окружал вакуум. А однажды замполит сообщил солдатам, что Горбачев — предатель всех времен и народов, и если он, подобно Иуде, сам не повесится на суку, то все равно его и клику преемников Меченого постигнет возмездие... Через неделю замполит был уволен из Вооруженных Сил.

На его место пришел молодой лейтенантик только что после военного училища, внешне, кажется, даже моложе меня. Он начал пугать нас тем, как страшно жилось в «империи зла». Мы ему сказали, что страшного ничего там что-то не припоминаем, а вот с дедовщиной лучше бы покончить раз и навсегда. Лейтенантик пригрозил нам гауптвахтой, и на этом свобода слова для нас закончилась. Я, правда, заметил ему, что не вижу ничего плохого в том, если государство умному поможет учиться, а больного бесплатно вылечит, на что мой оппонент обвинил нас в иждивенческих стереотипах коммунистического мышления.

На наших глазах увольняли многих опытных офицеров. Высказываний, подобно нашему бывшему замполиту, никто открыто больше не позволял. Разговоры, конечно, ходили разные, но — вполголоса.

Среди солдат отыскивалось немало тех, кому ровным счетом было плевать на происходящее вокруг: последнее интересовало их лишь постольку, поскольку может отразиться на сроках дембеля.

Вскоре стали происходить вещи, которые еще недавно были немислимы. Уроженцы среднеазиатских республик и особенно близлежащей Прибалтики, ставшие теперь иностранцами, не дожидаясь приказов об увольнении,

исчезали из частей. Они отказывались исполнять приказы, и я не однажды видел, как они просто убегали от офицеров и те гонялись за ними, словно за сорвавшимися с веревки дворняжками.

И все же то большое и глобальное, что происходило, свершалось как бы в стороне от нас. Наша жизнь мало чем изменилась, и каждый по-прежнему жил своим примитивным подножным кормом и мелочными заботами. Единственно существенное, что коснулось нас — так называемые «горячие точки». Незнакомое ранее понятие, привнесенное в реальность государственными потрясениями. За что воевали в горячих точках теперь уже на территории своей собственной страны, вернее, за что страна воевала сама с собою, было неясно. А сами конфликтные зоны оставались для нас черной лотереей, слепым жестом судьбы. С питанием становилось все хуже и хуже, и котлы со шрапнелью, которые почти полностью выбрасывались раньше свиньям, нынче подчищались до доньшка.

Выйдя из госпиталя, я несколько раз издали замечал Удава, но у меня сложилось такое впечатление, что он прячется от меня. Ребята моего призыва, которые Удава ненавидели, пожали мне руку, узнав о погроме в столовой, в результате которого Удав получил легкое ножевое ранение, а я, к большому счастью, всего лишь сотрясение мозга. А Шунков со смехом передал случайно услышанный разговор.

«Боюсь этих спокойных,— плакался Удав в кругу своих.— Не знаешь, что от них ждать. Нет, от этого лучше подальше держаться, а то и в самом деле под дембель во сне глотку перережет»,— говорил он, явно имея в виду меня.

В октябре я стал черпаком, то есть отслужил год, половину срока, и попал таким образом в младшую господствующую касту. Особых перемен, как мне показалось, я не увидел. Правда, к тому времени Удав с корешами уволились, как и Шамов со своей шайкой, и теперь крупных врагов у меня ни здесь, под самым Выборгом, ни в Черных Кольцах, не осталось.

Начальник строевой части, памятуя мои былые заслуги по добыче мелованной бумаги и, видимо, чувствуя ко мне особое расположение, поручил мне блатную работенку. Он выписывал увольнительные обычно дня на два, передавал пару запертых на ключ чемоданчиков и поручал доставить их на электричке в Питер, в привокзальную камеру хранения, номер и код которой заранее сообщал. Номер и код при каждой поездке изменялись. Майор строго-настрого запретил кому бы то ни было сообщать об этих поручениях, а официально я якобы направлялся на работы в соседние части. По прибытии он рвал увольнительные.

Я догадывался, что майор что-то ворует и передает сообщнику, которого я видеть не мог. В чемоданчиках было что-то тяжелое. Это могла быть тушонка со складов, которую мы якобы употребляли в пищу, а на самом деле за все мое пребывание здесь не видели ни разу, другие продукты. А может быть, кое-что и более серьезное и опасное. Впрочем, это мои предположения, а мою обязанность входило беспрекословно выполнять приказ. Я вообще должен был испытывать одно лишь чувство благодарности к майору: постоишь пару суток в нарядах дневальным, а потом у тебя два дня воли в северной столице. Скинешь парадку у знакомых — и в видеозал или музей, если пробьешься.

Офицер, обещавший «веселую жизнь» за то, что я отлежал в госпитале, лопался от злости, а потом вовсе забыл про меня, тем более майор, чьим протеже я был, послал его подальше.

Офицерам было теперь не до солдат. Войска все более походили на торговую биржу. В боксах с утра до вечера паслись прапорщики и офицеры, а иногда туда наведовались и чины покрупнее. Стоявшие на колодках «уазики» и другие машины списывались и за бесценок продавались своим и не своим. Зачастую, правда, обнаруживалось, что в боксах уже кто-то успел неплохо пошуровать, так как стоящая на «НЗ» техника оказывалась разукомплектованной: порой под капотами даже движков не находили...

Гаражи пустели, имущество увозилось и ничего не прибывало взамен. Порой даже любопытство разбирало, до какой черты будет оно исчезать?

Офицеры рассуждали между собой о каких-то партиях леса, кирпича, материи, словно были продавцами-оптовиками. Лафа моя с увольнениями закончилась, и я в числе других был отправлен на строительство генеральской дачи. Раньше изредка кой-кого тоже отправляли батрачить на отцов-командиров, но украдкой, и вовсе не так открыто, как сейчас.

С соседствующего военного аэродрома кто-то умудрился украсть сотни метров медного кабеля. Говорили, его продают в Эстонию, это очень выгодно. Потихоньку с краев взлетно-посадочных полос стали выкорчевывать плиты из высокопрочного железобетона. Четыре таких плиты — и гараж готов! Сначала процесс шел довольно робко. Потом, видимо, кто-то из больших командиров пришел к выводу, что аэродром испорчен окончательно, и его официально решили приватизировать. Зашумели бульдозеры, краны. Второй и третий этажи генеральской дачи мы достраивали именно из этих плит. Потом выложили ими двор и сделали из них забор. Не дача получилась, а замок в духе Выборгской архитектуры. На аэродроме продолжали снимать оставшийся медный кабель. Днем и ночью горели костры, в которых сжигали его полиэтиленовое покрытие. А у въезда уже дежурили грузовики с эстонскими номерами. В газетах писали, что крошечная Эстония к тому времени уже выходила на первое место в мире по экспорту цветных металлов, месторождений которых она не имела.

К территории части относился большой участок с настоящим корабельным лесом. Какими-то правдами и неправдами лес спилили, продали, а землю поделили на дачные участки. Судя по слухам, между офицерами шла настоящая грызня за место под солнцем. Пни корчевали танками и военной инженерной техникой.

И начали расти на месте бывшей сосновой рощи разномастные избушки и хибары из растащенного в частях стройматериала или разобранной войсковой недвижимости.

Политзанятия у нас давно прекратились, так как был брошен лозунг «Армия вне политики», и безусый лейтенантик больше не рассказывал байки о пользе рыночных отношений для желудка. Он в числе других был увлечен освоением нескольких соток на месте захваченной корабельной рощи. Намечавшиеся войсковые учения отменили, сославшись на отсутствие ГСМ и запчастей, и мы прозябали в обычной рутине.

Так как я попал в разряд черпаков, то мне стало дозволено смотреть телевизор, что я и делал в числе прочих сослуживцев по вечерам. Из финских телепередач ребята предпочитали порнуху, а Эстония, которая успешно крала из наших краев медь и алюминий, потчевала нас любопытными, наспех сляпанными фильмами американо-балтийского производства. Запомнился один такой «боевичок».

Юный эстонец снимает с новогодней елки, установленной на площади, игрушечную звезду. За это русские солдаты (их называют русскими, хотя они носят погоны «С.А.») устраивают настоящую варфоломеевскую ночь. Они избивают бедных эстонских старушек, героически шлющих проклятия им вслед, а малых детишек тащат за волосы в кутузку. А потом полковник КГБ (транссексуал и половой гигант, так как он насилует без разбору всех женщин и мужчин, заходящих к нему в кабинет) отдает приказ расстрелять сотни молодых эстонцев. Вина их заключается в том, что те явились на площадь с зажженными свечами отметить Рождество. И лишь некая воля божья в образе Свечения Небесного отстраняет его от этого опрометчивого шага.

Подобные небылицы мы смотрели, во-первых, за неимением ничего другого, а во-вторых, с целью вслух поерничать над ними.

— А ведь кто-то верит этому бреду,— усмехнулся Шунков.— Особенно те, у кого молоко на губах не обсохло.

ЦОЙ

Мне сообщили, что срок моей командировки в артчастях под Выборгом (которую я давно перестал ощущать таковой) закончился, и меня ждут Черные Кольцы. Очевидно, там решили, что история с Лариком замята, и я теперь не представляю опасности как свидетель.

Известие мало порадовало. Конечно, там ждали старые друзья, но и здесь таковых хватало. Возвращение в глухомань означало одно: прощай, увольнения, надежда на крохи вольной жизни.

Выборг я оставил, ни с кем не прощаясь. Единственный, кому хотел от души пожать руку, был Шунков, но он оказался в карауле. Кольцы встретили заунывностью барачной архитектуры, погрязшим в осенней промозглости мелколесьем, жутким гамом в столовой.

Судя по всему, нравы здесь оставались по-прежнему дикими, не сравнимыми со «столичными». Если б не отросшие волосы, чуть пробившиеся усики, слегка приспущенный ремень — знаки черпака — то я бы уже успел вляпаться в пару неприятных историй. Своих увидел не сразу. Кое-кто уже уволился, кое-кого перевели в другие части. Те, что оставались, разве что кроме Рустама и пары-тройки ребят, восприняли мое возвращение достаточно равнодушно. В их сознании я оставался чужаком. Объяснение тому было простое: как мне сказали, по мнению здешних, от меня «сильно несло резиной». В переводе с армейского эта развернутая идиома означает, что я шланговал, то есть вел легкую и беззаботную по меркам казенного человека жизнь. Возможно, они в чем-то были правы, если не считать сотрясения мозга и драки, в результате которой я мог оказаться на месте Ларика. Еще бы! Воспоминания о месяце в госпитале, воровских поездках в Питер по поручению майора стали единственным утешением на весь оставшийся год службы.

Цинично надо мной больше никто не издевался. Я расслабился, позволяя себе то, что раньше позволить было нельзя, например, не прячась, читать книгу или писать письма. Я считал, что врагов у меня больше нет. И это было

большой ошибкой. Моими злыми гениями до самого дембеля стали те, кого раньше в силу незначительной по сравнению со стариками ролью не приходилось замечать — прапорщики-замкомвзводы и прочая челядь.

Как-то утром, надевая хэбэ, я заметил, что из потайного кармана пропала заветная записная книжка-дневник. Сочинения Плутарха, давно мною осиленные, также исчезли из тумбочки. Эти вещи я сохранил в невероятных условиях, будучи бесправным. А теперь, став «хозяином», лишился их. Непостижимо!.. На новобранцев думать было нельзя. Они и помыслить не смели о посягательстве на независимость черпака. Да я и не сделал никому из них ничего плохого. На своих тем более невозможно подумать.

После обеда меня вызвал в кабинет командира роты исполняющий обязанности его заместителя прапорщик Полищук, краснорожий и пузатый. Он обладал замашками прирожденного следователя, любил докапываться до совершеннейших мелочей, видя в них подвох, и был очень подозрителен, считая всех солдат без исключения потенциальными преступниками, гаденышами и бездельниками. Кроме того, особенно он ненавидел всех «грамотных» и искренне считал, что их место «у параша».

— Фе-эллипов,— зашамкал он, как всегда, небрежно произнося слова,— чем занимаешься на службе?

— Как чем? Службу тяну.

— А это что?— он неспеша открыл ключом тяжелую дверь металлического сейфа с царским еще клеймом, также не спеша извлек пропавшие сочинения Плутарха. Меня в пот бросило от его наглости, но пришлось справиться с собой.

— А что, читать в армии запрещено?— спросил я.

— Нет, не запрещено. Но — смотря как.

Полищук открыл книгу там, где была сделана моей рукой на поле карандашная заметка.

— Что тут написано?— он протянул мне книгу, но при этом не выпускал ее из своих рук.— Читай.

Читать я не стал, а написано там было: «Эти бы слова да полкачу в уста».

— Ну и что?..— пожал плечами я.

— Дневальный!— вместо ответа заорал Полищук.

Перепуганный новобранец стоял навтыжку. Полищук с силой разорвал толстую книгу пополам и вручил дневальному:

— Снеси в туалет, там вечно дефицит с бумагой.

— Так, с этим разобрались,— Полищук снова открыл предупредительно запертый сейф и извлек оттуда на сей раз мою многострадальную записную книжку. Тут уж я не выдержал, рванулся вперед, чтоб выхватить ее, но Полищук твердым ударом кулака в грудь осадил меня на место.

— Писатель, значит, романы пишешь,— удовлетворительно с внутренним смаком произнес он.— Ох, кого я только не перевидал тут: клоунов разных, художников, татарин-композитор на мою голову вот еще завелся — ничего, я до него еще доберусь; а тут на тебе, писатель выискался. Ну так вот, пис-сака, теперь тебе некогда будет писать,— Полищук на мелкие клочья разорвал мою записную книжку и швырнул ее остатки в урну, однако они разлетелись по всему полу. — Привыкли там у себя бумажки перекладывать. Теперь ты чего потяжелее перекладывать будешь. Собирай все и уматывай!—сменив

ернически-благодушный тон на металлический, приказал он.

— Сволочь,— тихо процедил я сквозь зубы.

— Чего еще бурчишь тут под нос, пошел вон, я сказал!..

За «писание романов» и чтение Плутарха я был отослан в одиночестве на разборку старой прорвавшейся канализации. Потом меня заставили извлечь литую колодезную крышку, которую на полметра, раздробив бетонное кольцо, вдавил в землю самосвал-тяжеловес. Вокруг крышки посредине дороги столпились: Краснорожий, еще четыре прапорщика, два офицера, два сержанта-деда. Рядовым был один я. Каждый из «командиров» давал мне советы или понукал. У меня не было никакого инструмента, даже рабочих рукавиц. Одному вытянуть крышку было чересчур трудно. А они все стояли и понукали.

— Ну,— орал Краснорожий, словно на лошадь,— дурр-ррра, не соображаешь, как хватать лучше, вот за это место, н-ну, дурр-рррра, д-давай, н-ну, д-давай!..

«Вот и дослужился до черпака»,— думал я с совершеннейшим равнодушием. Никто из собравшихся не шевельнулся, чтоб помочь мне. После получасовых мучений я все-таки вытащил крышку, ободрав все ладони.

Среди прапорщиков был один смирный, похожий на мышь, жующую дармовую крупу, с маленькими неподвижными глазками, себе на уме. Он у некоторых солдат слыл за «хорошего». Однажды я видел, как на глазах «хорошего» старики избивали новобранца. Внешне кусок призывал их утихомириться, а когда отворачивался — так, чтобы солдат, которого били, не видел его лица — то начинал довольно лыбиться. Мягкий, как тряпка, он был хорошим для тех, на чьей стороне была сила. Ему ровным счетом было плевать на людей, однако дабы выглядеть добропорядочным, все свои пакостные задумки он совершал втихаря. Он не кричал, не ругался, он лишь молча за твоей спиной творил твою судьбу, по своему вкусу, усмотрению, по своим мерзковатым взглядам и примитивным мерилам, настолько, насколько позволено данной ему властью.

Краснорожий, напротив, не скрывал своих намерений. Но оба они определяли каждому виды и длительность работ, исходя исключительно из своих симпатий и антипатий, и им несказанно нравилось на свой лад играть в эту игру, где вместо безликих шахматных фигурок — бесправный человеческий материал.

Впрочем, честно говоря, прапорщики, или «куски», по сравнению с недавно пройденной школой среди заправского уголовного отребья казались просто классными дамами. Они не могут тебя ударить по-серьезному, не могут над тобой измываться круглыми сутками в отличие от стариков. Все их угрозы — из сериала детских страшилок. Они думают, что «научили» тебя, а ты в душе смеешься над их «наукой».

В казарме стояло легкое оживление. Толпа у каптерки получала парадное обмундирование. Получившие шли в бытовку гладиться и прихорашиваться. Было воскресенье, и многие собирались в увольнение, в поселок, единственным развлечением в котором был кинотеатр. Рустам давно припрятал талон на телефонные переговоры с родителями. Они далеко, и в последний раз он говорил с ними пять месяцев назад. Их голос звучал из-

далека, как с другой планеты, и то была лишь иллюзия их присутствия. Но иллюзиями приходилось жить неопределенное и бесконечное время, и они оставались единственной реальностью, замешанной на надежде.

У Рустама не было галстука, его кто-то украл или, мягко выражаясь, «дернул», а это означало одно: в увольнение его не отпустят. Из-за тряпки, которую кто-то из своих же прикарманил, и которую в свое время, наверное, прикарманили у него. Нужно было что-то срочно предпринимать. Еще пятнадцать минут, и всех выстроят для вручения увольнительных. С каптерщиком говорить бесполезно. Он неприступен и холоден, и позаимствовать галстук с одного из «дембельских», висящих в бездействии мундиров, он не рискнет. Оставалась надежда на дежурного по кухне, земляка, у которого имелся полный комплект формы, и Рустам мигом ринулся в столовую. Среди жбанов и ванн, в ворохе картофельной и рыбной шелухи отыскал земляка.

— Дай ему мой галстук,— попросил земляк каптерщика. Каптерщик был недосыгаем, как каменный монолит.

— Пачка сигарет с меня!— крикнул Рустам, поглядывая на часы: оставалось две минуты до построения. Каменный монолит не дрогнул.

— Две пачки!

— Но только «Космос»,— смилостивился монолит, протягивая мятую зеленую тряпочку.

Заскрипела несмазанная дверь казармы. Появился толстый старший прапорщик Полищук с круглым и вечно опухшим бордово-красным лицом, прозванный поэтому Краснорожим. Насмерть перепуганный, «по молодости» бритый наголо, до потрохов затянутый ремнем дневальный судорожно дернулся и заорал во все горло:

— Смирно!!.

— Шо орешь, дура?..— прохрипел Полищук уничижительным и умышленно писклявым голосом.— «Смирно» надо орать командиру роты!

Он приблизился к дневальному, и в упор, снизу вверх, из-за своего небольшого роста, пытался заглянуть ему в глаза. То был его прием. После колючего взгляда маленьких оплывших глазок должен был последовать либо ложный взмах правой руки, как будто он собирался нанести удар в подбородок, либо, если Полищук находился в хорошем состоянии духа, набор скабрезной бессмыслицы, с его точки зрения остроумной, потому что далее начинался глухой смех. Но ни того, ни другого не последовало. Это было что-то новенькое. Дневальный насторожился, моргая глазами.

Полищук заглянул в бытовку.

— Куда собрался, молодец?— спросил попавшегося на глаза Рустама, который со сменой начальников лишился многих своих преимуществ как музыкант.— Переодевайся в хэбэ.

— Зачем?

— Много вопросов, боец. Там узнаешь. Ты, Филиппов, тоже. А где у нас Цой? Цо-ой,— ласково пропел он.

Из-за дверей спального помещения бесшумно, словно привидение, возникла сухая длинная фигура корейца Цоя. Цой был в повседневной грязной своей форме: он год не ходил в увольнения, с того момента, как призвался.

—...И ты,— указав на корейца, лаконично изрек Полищук. Вскоре казарма опустела: уволенные разошлись, и в ней оставались лишь дневальные, да тихо похрапывающая среди образцово заправленных коек смена. Убедившись, что начальства поблизости нет, Цой негромко выругался:

— Ничтожество, подлец...

Сел на табурет и уставился в окно, хотя давным-давно было известно, что там: голый плац, пара тоскливых тополей, да огромный транспарант с надписью:

**«ВОИН! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙ СВОЕЙ ВОИНСКОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ!»**

В бессмысленном ожидании прошло минут сорок. Наконец, в казарме появился человек в гражданском. Представился по имени-отчеству. Стало ясно, что он припашет нас сегодня.

— Куда нас повезут,— без вопросительного тона в голосе недружелюбно спросил Цой.

— На кладбище.

— Это еще зачем?

— Могилу рыть.

— Какие страшные вещи,— мрачно изрек Цой.— А сказали — словно на расстрел вести собираетесь!..

— А что, не нравится?— повысил тон гражданский.— Не нравится, так вали отсюда, мы другого найдем.

— Да нет. Мне все равно. Что дерьмо из параша черпать, что ямы покойникам рыть.

—Откуда призывался?— упорствовал гражданский. Чувствовалось, он отставник, в недавнем прошлом военный, вот и не любил, когда солдаты много говорят.

— Не имеет значения. С юга.

В глубине души Цоя «кладбищенская» перспектива устраивала. Не за казармой ведь находится кладбище, а где-нибудь у черта на куличках. Может быть, даже в окрестностях Выборга. А раз так, то значит, он наконец-то впервые хоть издали взглянет на город и сможет что-нибудь о нем рассказать после службы.

Ехали в кузове «Урала» какими-то гнилостными местами. Моросил мелкий, холодный дождь. Никакого города Цой не увидел. Лишь унылые серые хибары, да серые поля. Подняв воротник шинели, хотя то была чисто символическая мера, Цой смотрел в туман. Его взгляд был совершенно спокоен и даже отрешен. Словно все, что происходило в настоящем, являлось чем-то таким, чего вообще не стоит замечать. Поговаривали, он курил анашу, которую ему тайком пересылали родственники, вот и был у него такой взгляд. Вытряхивал табак из «беломорин» и набивал их травкой.

— Эй, мужики, за что это нас?— весело спросил Рустам.— Ну меня за то, что композитор. Тебя, Андрей, за то, что писатель. Полищук всегда говорил, что все ученые должны пахать до посинения, чтоб всю свою проклятую научную дурь из башки выбить. Но Цоя, Цоя-то за что!..

Кореец не шевельнулся, словно не про него разговор, и в его взгляде по-прежнему не отразилось ничего, кроме полного отсутствия настоящего. Он находился где-то в ином мире, но в каком — далеко, долгожданном или

тягостном, трудно было угадать.

— А что Цой, ему-то все равно, он всегда с лопатой,— продолжал весело Рустам.— А я в увольнение собрался — и на тебе!

— Блага развращают,— заметил я.— Чем меньше ожиданий, тем спокойнее живется.

Машина остановилась. Мелкий дождь превратился в град, потом в снег. Ноги ощутили схваченную льдом землю.

Кладбище простиралось, покуда хватал взгляд, и исчезало в тумане, похожее на свалку металлической мишуры: покосившиеся в разные стороны надгробья из сгнившего железа, да хаотично поставленные ржавые оградки, цель которых, казалось, была единственная — любым путем заблокировать проход к последней обители.

Из каменухи могильщик вынес лопаты и ломы. Гражданский разметил очертания будущей могилы. Она как раз оказалась напротив того места, где был захоронен известный поэт.

— Кого хоронить будем?

— Отца моего,— ответил гражданский, и мы впервые сочувственно на него взглянули.— Начинайте.

Уже промерзшая земля, словно кремень, почти нисколько не поддавалась. Даже самые сильные удары полуторапудового лома оставляли в ней лишь маленькие углубленьица. После долгих стараний оттяпался все же кусок кило в два весом. Это была победа. Решили по такому случаю перекурить.

— Полищук не дурак, одних черпаков послал,— впервые очнулся Цой от своего ирреального бытия, и все поняли, что он имел в виду.

За первым отломленным куском последовал второй, броневой панцирь пошел на убыль, и долбить стало полегче.

— Цой, а Цой, а что ты на гражданке делал?— допытывался Рустам.

— Схемы электронные собирал.

— Я ведь говорил, что Цой тоже умный парень,— с гордостью напомнил о своем предположении я. Помолчали.

— Дома у вас в деревнях какие — сараи!— удивился Цой.

— Растащили Россию-мать все кому не лень, вот и сараи!— отрезал я.

— А могилы...— продолжал Цой.— У нас так нищих не хоронят. Вон та могила, чья она?

— Поэта известного.

— Известного у вас,— уточнил Цой, намекая на относительность и бренность земных титулов и регалий; он, кажется, вновь начал погружаться в недоступную окружающим философскую нирвану.— А что я скажу про него моему народу? Что был у него на могиле?.. У нас даже о Пушкине мало кто слышал.

— Что ж тут удивительного,— ответил я.

— Известный ты или нет, все равно на свалку попадешь,— кивнул Цой на простирившееся кладбище.— Что ни говори,— заключил он окончательно,— а человек вша все-таки. Ползает, жить себе подобным мешает. Потом бац — и нету.

— К известному из Западной Европы приезжали. Память почтить. Если могильщику верить,— заметил Рустам.— А к нам приедут?

— Да плевать мне, приедут или нет. Эх, монолог хочется почитать из Шекспира. Но я ничего не помню. Только «Ту би о нот ту би». Но это не подходит...

Пошла сырая, очень тяжелая глина, лопаты вязли, ломались. Их меняли. Теперь копали по очереди: в яме мог уместиться только один человек. На сапоги прилипало по пуду грязи, которую невозможно было счистить. Бесперывно шел снег. Мы насквозь промокли снизу доверху от воды и снега. Дело продвигалось медленно.

— Может, вам согреться?— предложил выглянувший из будки могильщика гражданский. Мы одобрительно промолчали. Выпили бутылку водки без закуски, и, кажется, работа пошла веселее. Но возни все еще было невпроворот, а уже начали сгущаться сумерки. Стоять приходилось по колено в ледяной воде. Из каменухи появился могильщик, сказал, что завтра доделает могилу сам.

— Нет! Нажмите, ребята!— упорствовал гражданский. А позднее, когда могильщик ушел, разъяснил:

— Знаю, как они сделают. До самых похорон будут за нос водить и деньгу выклянчивать. Известный народ. Без совести.

И мы продолжили работу, а гражданский ушел греться в каменуху.

— Цой, а Цой,— допытывал Рустам,— а почему тебя целый год в увольнения не отпускают?

— Да однажды сказал Полищуку, кто он такой есть.

— Стоило! Как будто он без тебя не знает!— укорил Рустам.

— Может быть, и знает, но только плохо. А Цой ему досконально объяснил, — растолковал я.

Вдоль ямы уже высилась гора исторгнутой глины и земли. Вынув последние лопаты грунта, я сразу не мог выбраться из могилы, скатился в воду со скользких краев. Мне протянули руки.

— Прав ты, Цой,— сказал я, соскабливая лопатой грязь с сапогов.— Нет ничего нелепее. Достигает человек вершины опыта и исчезает. А живые все начинают сначала. Не во тьме, конечно, но в сумерках. Ну скажите, что вы знаете о своих предках? Как они жили, как лбы свои били? Молчите? Ничего. Вы даже не знаете, как их звали.

— Жизнь слишком коротка,— подумав, сказал Цой.— Мы вот вместе копаем эту могилу, а друг о друге почти ничего не знаем.

Появившийся гражданский осмотрел яму, подал немного денег.

— За работу,— сказал скупно.

На обратном пути машина тормознула у магазина. На полученные от гражданского деньги купили еще три бутылки водки, хлеба, селедки, банку консервов.

Цою нетерпелось наклюкаться. В его взволнованной душе опять оживал недоступный посторонним мир, полный светлого и ясного, оставленного в безвозвратном, почти выдуманном далеке.

— Не спеши, Цой. Вот заступим в наряды, а там...— остановил я.— Кстати, тебе куда?

— На КПП.

— Тем более. Как пить дай, попадешься!

Но Цой был упрям.

— Не хочу я больше служить в этой части у Краснорожего! Пусть лучше застукают и в еще большую глухомань сошлют!— орал он на тайном ужине в гараже.

— Служба везде одинакова. Сам знаешь.

— Знаю! Людей этих видеть больше не могу, быть с ними, слушаться их. Такого унижения натерпелся здесь я от подонков разных, и никогда не прощу их!.. Пусть будут другие на их месте, пусть, но только не они... С вами вот только жаль расставаться, ребята,— тихо добавил он.

Мы молча жевали — русский, татарин и кореец, собравшиеся сегодня вместе по воле хохла... Рустам больше не говорил о карме, ниспосланной каждому из нас, в том числе и Полищуку, и не цитировал «Бхагавад-гиту».

Когда мы вышли из гаража и направились мимо плаца к казарме, плакат, призывающий к настойчивому овладению воинской наукой, освещенный сейчас прожектором, было видно лучше, чем днем.

...Цой попался сразу же. Он почти вывалился из строя новой смены заступавших в наряды, и дежурный по полку тут же увел его на «губу», что была поблизости, за высоким каменным забором с колючей проволокой, в лапы к Борзokonю. Рустама прапорщик Полищук отправил на базу грузить мороженые кости для роты. При этом Полищук был настолько пьян, что даже не понял, что композитор, которого он упорно хотел чему-то «научить», сам пьян до неприличия, что и спасло последнего от неминуемой кары. Я ушел в наряд по кухне, где тут же заснул.

Утром, ощущая неистовый треск в голове и дикую усталость в руках и ногах от вчерашней работы, обнаружил, что бак каким-то странным образом полон очищенной картошки. Кто-то из своих приказал зеленым постараться за меня. «Не оставили в беде, ребята», — подумал туманно.

А после завтрака мы увидели Цоя. Без ремня, стриженный наголо, он вылизывал в числе прочих провинившихся дорогу перед КПП под направленными в спину дулами автоматов, что совсем непрофессионально, словно грабли, держали в руках его полусонные сослуживцы.

Через неделю, после отбытия повинной, Цоя никто больше не видел. Наверное, сослали на лесоповал.

— Ну что ж,— говорили мы меж собою с Рустамом.— Может быть, ему там и лучше.

В глубине души каждый из нас хотел жалеть его, но лишь хотел, потому что жалость и другие человеческие чувства были притуплены и серы, как цвет солдатской шинели.

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ ПОЛКОВОГО

Кто думает, что переход в черпаки или деда автоматически лишает тебя превратностей судьбы, тот глубоко заблуждается. По неписаным законам дед лишь получает право на легкую жизнь, но это право он вынужден все время доказывать и подтверждать. В противном случае он рискует тем, что «молодые» сядут ему на шею, и он сам превратится в такового. Бремя черпака и деда отнюдь не легко. Если раньше он терпел унижение, то теперь он сам

должен постоянно унижать других. А это отнюдь не благодный моральный труд.

Среди господствующего клана всегда найдется несколько лидеров, энтузиастов сурового «воспитания». На них-то все и держится. Я к таковым не относился. Более того, полученная за год с лишним «наука» не пошла мне впрок. С молодыми я обращался по-человечески, как с равными. Я не принадлежал к тем, кто способен драться с безвинными. В общем-то, я предпочитал делить с ними работу поровну за исключением тех случаев, когда помимо моего непосредственного участия мои более суровые соратники заставляли зеленых работать за нас.

На сходках стариков я не раз выслушивал за это много неприятных попреков. «Что, не можешь дать в морду?.. Забыл, как тебя били?.. Если не думаешь о себе — нам не портить репутацию!..» И все в том же духе. Однажды мне даже было сказано в сердцах: «Чистым хочешь остаться? Если не будешь их бить, мы тебя самого взгреем!». Это, конечно, была шутка. Но нехорошая шутка.

Строгость старых имела под собой основание, потому что в неписаных законах не все гладко, и их тоже приходится отстаивать. Есть, к примеру, такая вещь, как землячество. Мучается молодой, становится дедом — тут бы ему и хвост распустить, баклуши начать бить. Тем более новый призыв начался. Но среди зеленых приходят земляки какого-нибудь старика. Тот берет их под свою опеку — и начинается невообразимое. Обнаглевшие салаги, заручившись поддержкой своих старослужащих, не прочь и дедами покомандовать. И небезуспешно: землячество вторая после дедовщины примечательная в армии вещь. Оно — сущий позор для неудачливых дедов.

Но надо отдать должное, над молодыми в Черных Кольцах измывались не хуже, чем и год назад, и даже еще похлеще. Я им не завидовал. Они ходили грязные, избитые, в синяках и слезах. И искать им правду было бесполезно. Да и у кого? Краснорожего? «Хорошего»?..

А я по-прежнему считал сутки. Их было пройдено уже около пятисот, некогда недостижимое, фантастическое число, и все равно казалось, что конца-края им не будет. Сутки тянулись медленно, как всегда, похожие одни на другие, не несущие в себе ничего, кроме уныния. Вся моя тетрадка была испещрена различными хитрыми диаграммами, в которых я сравнивал то, что прожито, и то, что осталось прожить. Иногда пытался обмануть себя, не зачеркивая несколько дней подряд крестики в похожем на кроссворд чертеже, а потом вымахивая их одним росчерком: вот, дескать, как дни быстро идут. Но время отнюдь не тянулось от этого быстрее.

Правда, вскоре «молодые» стали из Черных Колец постепенно убывать. Искали добровольцев в «горячие точки». В частях, расположенных поближе к городу, их находилось немного, зато отсюда они вербовались целыми взводами. Причина была проста: они предпочитали жить под пулями автоматов, чем терпеть засилье дедов. В письмах друзьям-сослуживцам писали: да, там опасно, но лучше, потому что нет такого беспредела. Офицеры-вербовщики были довольны и разглагольствовали о высоком моральном и боевом духе войск. Черные Кольца попали в число образцовых по этому самому показателю...

Как-то после обеда ко мне подошел Полковой, с которым я когда-то не

один месяц натирал штабные полы. Он уже был стариком. Полковой доверительно, по старой памяти, сообщил мне, что добился чудес в воспитании подчиненных и пригласил меня на чердак казармы, чтобы убедиться в его достижениях. «Видно, какая-то дрянь», — подумал я, но все же из любопытства последовал за ним. Полковой запер за собой дверь на ключ. На лице его сияли нетерпение и какой-то сатанинский восторг. В хорошо освещенном углу чердака я, к своему удивлению, увидел Чифа. Взор его был тяжел, он был подавлен.

— Но Чиф ведь черпак! — пожал плечами я.

— А я дед! — запетушился Полковой. — А мы с тобой — друзья. Сам знаешь, молодых сейчас мало, побегали чурок стрелять, — и шепнул мне на ухо: — Сейчас я придумаю какой-нибудь предлог.

Полковой нацепил на себя страшное выражение (впрочем, ввиду природных качеств слишком стараться ему не пришлось) и громовым голосом произнес:

— Чиф сегодня заложил тебя, что ты баклуши бьешь. Чиф — стукач. Его следует наказать. Раздевайся!

Чиф медленно и покорно разделся.

— Догола! — рывкнул Полковой. Чиф снял трусы, обнажив свою нескладную горбатую фигуру. Я думал, что Полковой заставит его маршировать, но глаза не поверили тому, что произошло в ближайшие секунды. Он приказал ему встать на четвереньки, пнул по ягодицам, заставив их раздвинуть; потом сам скинул с себя штаны, извлек свой инструмент и принялся со знанием дела трудиться. Меня чуть не стошнило. Я направился к двери, но та оказалась запертой.

— Выше задницу! — грозно изрек Полковой. — Почему такой костлявый?

— Не знаю, — мягко, неразборчиво пробурчало существо, похожее на зверька из мультфильма. В голосе Полкового зазвучало что-то непонятное — какая-то жестокая игривость.

— Чиф, Чифушка, — приговаривал он и пощипывал его за живот. Чиф утробно, мерзковато похохатывал.

— Что такое?! — взревел Полковой.

— Щекотно...

— Хорош, Полковой, — сказал я, — открывай дверь и занимайтесь здесь, чем хотите, без меня.

— Нет, не хорош. Мы еще долго будем с ним работать.

Он поднялся на ноги и начал застегивать штаны, не забыв приказать Чифу оставаться в прежней позе. У ног Полкового замерло некое нескладное животное, в покорной затаенности ожидавшее, что с ним будут делать дальше, затихшее, словно лягушка, которая чувствует, что если она прыгнет, то ее неминуемо расступят, так что лучше затаиться... От страха Чиф потерял все человеческое. Впрочем, он давно уже не существовал как личность. Но Полковой, который соизволил посчитать меня своим другом, и к которому я в душе относился терпимо и снисходительно, как к обычному малоумному человеку, которого надо и прощать, — он словно бы провалился в моем сознании в бездонную яму с помоями.

— Теперь твоя очередь! — широким жестом, «по-товарищески», предложил Полковой. Полтора года назад он также угощал меня обглоданным куском

мяса.

— Ты что, сдурел, Полковой? Я такими делами не занимаюсь.

— Я сказал, твоя очередь!— в голосе его зазвучали металлические ноты. Он схватил меня за лацкан хэбэ.— Или что, опять чистым хочешь остаться?!

— Нет!— зло отрезал я и с силой отстранил его руку. Полковой отступил. Я чувствовал, он затаил на меня злобу. Еще бы, теперь я выступал в роли непрошеного свидетеля в общем-то уголовного преступления, и отнюдь не соучастником, как он предполагал, когда приглашал меня сюда.

Наконец, Полковой приказал Чифу встать к стенке.

— Чиф, скажи честно, ничего не сделаю, да или нет, хочешь ты сюда постоянно приходить?— спросил Полковой.

— Нет,— ответил Чиф тихо. Полковой рассердился и ударил его несмотря на обещание. Потом заставил клясться, что «не стукнет».

— Запомни, о том, что было здесь — ни слова,— предупредил Полковой уже меня и пошел открывать дверь,— иначе...

Он не договорил.

Через день Чиф, увидев меня в столовой, приветливо заулыбался. Возможно, и была у него на это причина — ведь я отказался трогать его, и никогда его не оскорблял. Но мне стало противно, и я отвернулся.

Что касается Полкового, то я перестал хоть на йоту сочувствовать ему, и он, несмотря на свое малоумие, принял это близко к сердцу, оскорбился. А оскорбившись, решил отомстить мне, то есть доказать, что раз я пренебрег расположением «дедушки», то это дорого мне обойдется.

Полковой стал сообщать мне всевозможные гадости. Например, что его призыв меня не любит. Как-то в столовой он грубовато толкнул меня локтем и в приказном порядке потребовал налить в кружку чай из стоявшего рядом со мной чайника. Около меня сидел офицер, и я не мог допустить ответной грубости. Я плеснул ему полкружки и таким же макаром толкнул под локоть. Наши неприязненные отношения разрастались с каждым днем, причем, никто не хотел уступать. Воистину нет врагов хуже, чем прежние приятели. И хотя никакой особой дружбы у нас с Полковым до сей поры не было, а была, по крайней мере, с моей стороны, терпимость, что в наших условиях вполне достаточно, суть не менялась. Резкой переменой отношения я задел самолюбие Полкового за живое. Он не мог мне этого простить.

Вечерами Полковой усиленно трудился над «дембельским альбомом». Художник из молодых уже разрисовал его, и теперь Полковой подклеивал фотографии и вписывал разные дешевые изречения.

— Ненормальный ты, Филя,— говорил мне Полковой.— Все черпаки уже давно готовят альбомы, а ты книжки читаешь, да еще украдкой от Краснорожего, как последний засранный зеленый.

— Плевал я на твои альбомы.

Мы продолжали злословить.

— А что ты сможешь показать там, на гражданке?— не унимался Полковой.
— Что скажешь о том, как службу понял, как нес ее? Какой урок для себя заключил?

— А ты какой урок для себя заключил, Полковой?— с усмешкой спросил я.

— Как службу нести. Как с товарищами дружить.

— А хочешь, я расскажу тебе про твой урок, Полковой? Три четверти

службы над тобой издевались, как не издеваются над животными, и ты покорно терпел. Швабра и лопата — вот главные орудия, которыми ты «воевал». Тебе выкрошили половину передних зубов и отбили почки, а когда повесили твоего товарища Ларика, ты молчал, как молчали все, потому что боялся. Полтора года ты убирал дерьмо за подлецами, орал в противогазе песни, сдувал щеткой пыль со стариков, а теперь сам превратился в подлеца и труса. И вдобавок ко всему ты стал пидером. Вот весь твой урок!.. А теперь ты будешь показывать свое дембельское фуфло знакомым, липовые аксельбанты, купленные значки, ворованную форму и рассказывать им, каким ты был героем.

Полковой рванул меня за грудки, а я опоясал его по темечку драгоценным дембельским альбомом. Потасовка перенеслась в соседствующий туалет, где я посадил Полкового на «толчок». Сила оказалась на моей стороне. Прибежали старики, черпаки.

— Вы бы так молодых били!

— Парни, это сугубо наш междусобойчик,— поспешил я.— А из-за чего — это я вам никогда не скажу. А Полковой тем более.

Конфликт был исчерпан. Больше мы с Полковым друг друга не замечали, а через четыре с половиной месяца его уволили в запас.

СУТКИ СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЕ

Как я уже упоминал, прапорщик Полищук с вечно красным лицом по прозвищу Краснорожий, очень не любил «грамотных». Краснорожий утверждал свое превосходство надо мной, весь оставшийся год исправно гоняя на копку канав, чистку канализаций и уборку фекалий (в основном человеческих, а на свинарнике — свинских). Я так привык к этому, что перестал ощущать тяжелую длань его равнодушия ко мне. За минувший год я ни разу не побывал в увольнении и не представлял, что происходит по ту сторону забора.

Когда пришло время увольняться, командование начало тянуть с этим делом резину. Нам необходимо было созреть, то есть истомиться ожиданием и стать морально готовыми к любому подвижничеству, лишь бы поскорее отправиться домой. На том и построены «дембельские аккорды»: если что-то нужно сделать срочно и качественно, к ним непременно обращаются как к панацее. Чем быстрее сделаешь, тем раньше освободишься. А попробуй дать ту же самую работу не дембелю, а более молодому солдату: он будет двигаться не шатко не валко, а то и вовсе станет лишь создавать видимость деятельности. Какая ему разница: быстро закончишь одну работу, тут же получишь другую. Но личный интерес в конечном итоге способен творить чудеса. Это известно даже самому плохому прапорщику.

Вскоре в роту поступил так называемый «карантин» — молодое пополнение. Они были маленькие, дохленькие, пугливые, словно телята.

— Бедные люди! — воскликнул кто-то из наших.

Да, их становилось жаль, и то было сочувствие еще и к себе тогдашнему. Но и радость, неодолимая радость переполняла нас: прибыла смена — дембель не

за горами. За штатской одеждой, которая осталась после молодых, приезжали майоры, капитаны, разбирали, что кому понравилось. «Старых» солдат, которые тоже охотились за ней, офицеры отлавливали и наказывали.

Полищук объявил дембелям, что нам бы пора домой, но...

— Что будем копать? — осведомился один из нас.

— Копать пока не будем. Будем катать квадратное и носить круглое, — в тон ему ответил Полищук. И втолковал, что нам вместе с солдатами из других рот предстоит подготовить целинный городок на триста человек. Пообещал: как закончим, отпускают домой. На все дается три дня.

Целинный городок — это целый жилой поселок для солдат, обеспечивающих войска хлебом. Тридцать деревянных разборных домиков на десять человек каждый с тентовыми крышами, со встроенными шкафами, полками и нарами; просторная столовая, комната для собраний, автопарк с контрольно-пропускным пунктом и складом для горюче-смазочных материалов; плакаты и транспаранты, умывальные, туалеты. И на все это нам, шестидесяти человекам — три дня?.. Никто из нас не поверил, что мы выстроим за три дня целый поселок. Конечно, наша орава в считанные минуты, навалившись разом, нагружала и разгружала огромные грузовики с досками и бревнами, словно детские коляски. Но здесь пахло не одним десятком таких машин с грубым стройматериалом, который еще необходимо обработать, прежде чем пустить в дело. Это выглядело нереальным.

За работу взялись сразу после завтрака. «Уралы» подбросили нас на небольшую поляну в лесу, где планировалось разместить городок. Решили работать одновременно на нескольких объектах. Чтобы не мешать друг другу, разбились на группы. В нашей группе, которая должна была подготовить все необходимое для монтажа палаток, четверо пилили доски, временно свободные разгружали подходящие одну за другой машины, двое раскладывали на земле уже готовые конструкции по размеченным с помощью бечевки периметрам будущих домиков, еще четверо сколачивали шкафы, полки, полы.

«Уралы» доставили нас на обед и незамедлительно повезли обратно. Работа кипела и после ужина до часу ночи, пока не исчез последний призрачный свет.

Так прошел первый день «дембельского аккорда». На поляне стояли скромные, едва приподнятые над землей основания тридцати домиков и на треть начатые каркасы других помещений.

Утром наша команда дожидалась очереди у столовой. После завтрака вновь принялись за дело. Сняли бушлаты: стало жарко. Приехало начальство из дивизии. В ответ на чисто формальные придирки полковник обещал:

— Завтра все будет сделано!

«Завтра»! Мы не верили, что завтра сделаем и половину! Впрочем, день еще только начинался, и работали мы как оглашенные. Все словно были одержимы. Удивительно, но никто не искал даже легких передышек. Стоило у кого-то выпасть свободной минуте между операциями, как он тут же шел помогать другим.

А третий, последний из отпущенных нам дней, начался в еще более высоком темпе. Мы разогнались и остановить нас было невозможно. Часам к одиннадцати вечера поднялись стены домиков, мы начали крыть крыши. Уже доносились радостные вести: полностью выстроено здание для хранения цистерн с ГСМ, в комнате для собраний осталось лишь расклеить наглядную

агитацию. Машины скопились в кучу, и мы работали при свете фар.

— Глаза боятся, а руки делают! — кричали в восторге и воистину убеждались в удивительной правоте этой поговорки. Потом бросили силы на столовую, отстававшую от других объектов.

И вдруг в два часа ночи мы увидели: все!

Не верилось, но это было именно так. Еще позавчера гулял здесь на поляне ветер, а сегодня стоял городок на триста человек.

Мы долго бродили вокруг, оглядывая творения своих рук. Не помню, когда нам приходилось удивляться более. Вчера, если б кто-то нарисовал нам сегодняшнюю картину, ни один из нас не поверил бы ему. Мы работали по восемнадцать часов в сутки, а в последний день — двадцать, но не ощущали ни усталости, ни желания спать.

Командир полка выстроил нас. Кажется, у него не хватало слов. Он нам просто всем шестидесяти крепко пожал по очереди руку и сказал:

— Спасибо, ребята! Огромное спасибо. Обычно такие работы выполняют за месяц. Завтра едете домой.

Установился густой мрак. Могучие машины замерли на пригорке в длинном ровном ряду. И только сейчас я вспомнил, что закончились семьсот тридцать первые сутки моего пребывания здесь. Кажется, впервые я не считал их. Да, завтра начнется уже совсем иная жизнь.

Взошла луна. Мы смотрели на лунные «моря», в которых угадывались очертания земных материков. Казалось, это и есть Земля, где нас ждет отчий дом, и завтра, уже сегодня, вздрогнут расцветенные океаном огненных красок носители космического корабля, расплавится атмосфера, превращая видимое в мираж, и мы улетим туда, оставив позади эту планету, по которой пришлось прошагать много холодных дней. Казалось, Земля еще далеко, и до нее есть нечто большее, чем остаток сегодняшней ночи.

Мы брели небольшими группами по шоссе, в последний раз возвращаясь в казарму, и в необъятно радостном чувстве завтрашнего утра, переполнявшем нас, было другое, сдержанное, но более стойкое и глубокое — чувство впервые обретенного мужского братства, когда твое «я» исчезает, растворенное во множестве других, но ты впервые не жалеешь об этом.

Ночью, среди перекрестницы обновленных двухъярусных коек, я очнулся от чрезвычайно мощного, раскатисто-глухого гула. Внизу, в темноте, рассекаемой конусовидными потоками света фар, шла колонна танков.

Кто-то взял в руки гитару. Парень запел песню срывающимся, слабым и нежным голосом. Это была песня о долгожданном доме. И тогда, в остаток той ночи, глядя в верхний ярус коек, укрываясь шинелью, я понял, что ничто не забыто и ничто не потеряно, и меня ждет что-то очень прекрасное.

Убаюканный песней, я вдруг провалился в короткий двухминутный сон. Все увиденное и передуманное за день сплелось в один неразборчивый и причудливый клубок, и — вот странность — мне снилась... мысль. Мысль, что семьдесят лет жизни человека — это чья-то неудачная выдумка, на самом же деле люди бессмертны и никогда не умрут.

Это чувство сохранялось совершенно ясно и правдоподобно минуту-две, пока я не проснулся. Две минуты в своей жизни я был бессмертен.

УТРО

Ну вот, все позади. Я могу ехать. Но не тороплюсь. Мне еще нужно зайти в гарнизонную прокуратуру. Минует час, прежде чем попадаю на прием к прокурору. Приходится много и длинно объяснять ему, что же я хочу доказать, а именно: мой сослуживец Лаврентьев, которого все звали Лариком, не повесился. Его повесили.

Натыкаюсь на суровый и недоверчивый взгляд, а в довершение на упрек: что же я молчал целый год? Прокурор возрился на меня, словно на преступника. Я ежусь. Мне кажется, меня снова призвали на службу, и пошли первые сутки моего пребывания на ней в качестве зеленого. Потом я пишу заявление. Прокурор велит ждать, а сам уходит на обед. Медленно тянется время. Нет никакого удовольствия сидеть здесь и ждать. Наконец, возвратившийся прокурор велит пройти к следователю, майору с деревенским выговором.

Я освобождаюсь лишь к вечеру. Но теперь совесть у меня чиста: дома буду ждать письменный ответ, как мне и обещали. Захожу в последний раз на КПШ части. Дежурный солдат выпрямился передо мной в струнку, полный ожидания. С чего бы это? Ах, да, совсем забыл: у меня относительно длинные волосы и даже усы. Я обладатель высшего чина в дедовской армии: я — дембель! Солдатик неприкаянно ждет, на нем затрапезная потрепанная шинелишка. К его изумлению, скидываю с себя свою отутюженную и дарю ему вместе с шапкой. «Антенну только выправь, зема», — даю напоследок совет. На всякий случай осмотревшись, нет ли поблизости поделщиков Борзоконя, открываю чемодан и извлекаю оттуда заранее приготовленный плащ. Отныне я гражданский человек.

Автобус, потом электричка — и вот железнодорожный вокзал в Питере.

Я брожу и ничего не могу понять. Каждый квадратный метр забит торговыми ларьками. Такое впечатление, что торгует весь народ. «Но кто же тогда работает?..» — мелькает в подсознании вопрос.

«Пира-ажки, пира-ажки, домашние, с капустой...» — вот уже с час надрывается девушка. Ее голос срывается, но она продолжает скандировать.

«Ночевать, ночевать, ночевать...» — словно шепот листвы, слышатся зазывания старушек, промышляющих сдачей квартир. А школьники, несмотря на поздний час, организовали свой ненавязчивый сервис: за символическую плату они открывают мужикам у ларька пивные бутылки. Рядом с мусорными контейнерами прямо на холодном асфальте спят бомжи, списанная человеческая масса. Их никто не трогает, с них нечего взять. Зато вооруженная до зубов милиция придирается к подвыпившим — здесь есть вероятность взыскать куш.

У ресторана фланируют проститутки, их узнаешь по вызывающей одежде.

Слышу рядом с собой разговор:

— Еще чего, пусть дураки служат!.. Я уже договорился с врачами, мне сделают справки, — молодой парень с короткой модной прической, с двумя огромными сумками (видать, торгаш) бахвалится перед встреченной им девчонкой. Он вовсе не стесняется своих слов, не старается их как-то приглушить, скрыть от посторонних ушей. Меня слова его неприятно поражают и надолго въедаются в душу, словно больная заноза, словно личное

оскорбление.

Я знаю только одно: несколько лет назад тот, кто мог такое сказать, считался бы подлецом. Конечно, мы многого не знали. И все же тот, кого отправляли служить, не слыл за недоумка...

А теперь вдруг подкралось какое-то чувство досады. То самое, что испытал я при виде вывешенной в зале ожидания громадной карты Государства с непривычными, обкромсанными границами, сданными без войн и выстрелов. И не знаю, что в чувстве том было больше — недоумения, горечи или стыда. Хотя лично я не был в этом виноват.

В проходе метро молодой человек играет на скрипке Моцарта. Течет равнодушная толпа, никто не бросит ему монетку. Я приближаюсь, старательно роясь в карманах брюк. Кажется, напрасно, денег у меня нет. И тут.. я узнаю в молодом человеке Рустама, который уволился в запас на полгода раньше меня. Я потрясен, я не верю своим глазам.

— Рустам...

Он вздрогнул, прекратил игру, виновато как-то съежился. Потом нескладно поднялся, протянул руку:

— С возвращением, Андрей.

— Рустам, что случилось?.. Почему ты здесь?

Он виновато молчал.

— У тебя были такие перспективы...

— Были. А теперь... Оказывается, я занимался в своей жизни не тем, чем надо. Надо было учиться на бухгалтера в банке, на каратиста-охранника. Но никак не на композитора.

— А преподавать в консерватории?..

— Нет вакансий. И потом, преподаватели — бедные, нищие люди. Им ничего не платят.

— А музыка... Ты сочиняешь?

— Что музыка! Серьезная музыка сейчас никого не интересует: она не приносит денег...

Молчу, пораженный.

Рустам провожает меня до перрона, держа свою скрипку в руке. Прощаемся.

Вагон наполовину пуст (раньше поезда на этом направлении всегда были полны народа). Железнодорожный состав уже как берег родины. Скоро кончится осень. За окном кружатся одинокие снежинки, упорно напоминая о зиме минувшей.

На больших северных учениях мы шли бок о бок с Лариком - с полной экипировкой двадцать семь километров по лесу, иногда бежали, чтоб сократить время. На глубоко замаскированной базе два наших взвода пересели на «Уралы» и мы двинулись дальше. Тут я впервые увидел исполинский военный бульдозер-дорогопрокладчик. Он шел впереди колонны в полном бездорожья, срезая уютнообразным щитом небольшие деревья, заледенелый наст и снег, удивительно ровно, не покачиваясь ни на едином вздутии, обнажая мерзлую отполированную землю. Тонны мерзлого снега снопами и кусками

разлетались в стороны, и солнце радужно искрилось сквозь снежную пыль. Бульдозер-утюг вгрызался в дикое снежное поле с островами мелкокося, словно ледокол. Только что рожденный путь с двух сторон ограничивался насыпями в два человеческих роста. Высокопроходимые машины ревели следом и нервно дергались, ускоряя бег.

Все молчали. Еще недавно совсем разные, теперь молчали все, веселые и угрюмые, общительные и замкнутые, одинаковые, словно ячейки пчелиных сот. Лишь много позже ум наш воспринял правильность и мудрость того закона, который мы исполняли инстинктивно: не высовываться за территорию маленького, отведенного тебе квадрата, быть, как все.

Мы молчали — и не оттого, что шли всю ночь до рассвета по ледяным тропам. Нам еще предстояло поставить палатки, запастись топливом, расчистить в лесу большой полигон. А главное, мы должны были забыть о себе. Но можно ли полностью забыть о себе?..

Я помнил прежние долгие месяцы, слившиеся в единообразную массу, похожие на один день. Я был ежечасно погружен в механическую безотрывную работу. У меня не было ни минуты, чтоб отвлечься от нее. Иногда мне начинало казаться, что я безразличен к ней, мысли мои скитались очень далеко отсюда, и всегда — в прошлом. Я сотни раз переживал уже когда-то пережитое, пытаюсь открыть все новые и новые детали. Я брел по улицам прошлого, любил и страдал отлюбленным и забытым, даже когда мечтал о будущем — то было будущее прошлого; я разговаривал и спорил с людьми, бывшими на другом краю земли. Мозг не сдавался и жадно, с поразительным упорством искал и находил утраченные образы, обрывочные видения, странные непривычные чувства. Он жадно работал, словно чему-то назло, когда я таскал бревна в вагоны весь световой день, когда бежал по несколько километров со всем пехотным снаряжением.

И все-таки там была суета, и она спасала. Но потом, на учениях, был эпизод, когда я словно бы погрузился в небытие. Ларик ушел с другим взводом. А я и еще двое не знакомых мне ранее солдат в течение нескольких дней, в крещенские морозы, находились в недостроенном железобетонном бункере — аварийном штабе, где-то похороненном под снегом среди леса, раскинувшегося на сотни километров. За эти дни мы вряд ли перекинулись с сослуживцами несколькими словами, настолько мы были разными людьми. Меня начинали одолевать дикие, отчаянные мысли. На них наталкивала эта вечная неизвестность, которую я так проклинал.

...Потом после блужданий среди бурелома и снега мы вышли к аэродрому. На холме стояли маскировочного цвета локаторы. Странно и дико громоздились эти чудища среди безбрежных облаков, безбрежного неба и лесов. Реактивные истребители взлетали низко и мгновенно, черными молниями. Самолеты уже исчезали из поля зрения, исчезали и видневшиеся, какое-то время рвущиеся из сопел короткие струи огня, а жуткий гул только еще приближался, нарастал, словно бы грозя разразиться катастрофой, разорвать небо пополам...

Стучат колеса... Удивительно, что мне не нужно все время посматривать на часы, судорожно высчитывая, сколько еще часов осталось быть на воле. Не нужно ходить строем, обедать ровно пятнадцать минут, и ни минутой больше. Чистить плац, выкапывать ямы и закапывать их. Свобода! Долгожданная,

выстраданная долгим терпением, невероятно радостная, мучительно сладкая, не сравнимая с любовью ни одной, самой красивой, смелой и сильной женщины, ведь она не предаст.

Человек свыкается со всем. Некоторые так сживутся со своим заточением, что не мыслят себе иного бытия. Но есть люди, которые смертельно не переносят неволи и никогда не смогут привыкнуть к ней — будь то тюремные стены или армейская казарма, люди, для которых нет более тягостного наказания, чем ежечасное присутствие чужой воли, нередко воли злой, эгоистичной и несправедливой. Они сродни птицам, которые умирают в клетке. Наверное, к числу их принадлежу и я.

За окном бегущего домой поезда больше ничего не происходит. Проводник выключает яркий свет. Расстилаю белье. Некоторое время я смотрю в потолок. Припомнился разговор двух поскандаливших стариков, тогда, в электричке, в самом начале службы. Сейчас понимаю, что каждый из них был по-своему прав, и зря они повздорили.

Утро. Знакомый перрон. Мой город. Боже мой, сколько времени я мечтал взглянуть на его улицы хоть одним глазком! И вот он рядом, и я иду по нему. Нет в мире более родного мне неодоушевленного существа, чем он, мой город, роднее этого асфальта, аккуратных газонов. Каждая травинка и каждый домишко на этой древней деревянной улочке — час моего бытия. И величавый собор, и река в ее излучинах, и неприметные переулки — сущность земная, стародавние мечты и надежды, взрослевшие вместе со мной. Я возвращаюсь к вам, и тихий город внушает мне странную мысль о том, что все главное еще впереди, и все будет хорошо...

О, тихое утро мое, пустынное и солнечное!.. Комната, все те же стеллажи с книгами, с многими из которых связаны какие-то размышления. Бархат зеленых накидок на стульях, полированный стол, чистый белый потолок. Где-то на кухне суется мама. Пианино. Забытые-забытые клавиши. Я до сих пор не научился говорить с ними, не забыл эту простую мелодию...

Сидеть бы здесь часами и смотреть на все это, уходя в благодать и независимость покоя, погружаясь в далекий знакомый мир, цветной бесконечный сон растворенных здесь многих лет...

Несколько дней минует в безмятежье. Потом ко мне приходят приятели, подруги, организуется какое-то стихийное застолье. Я неспеша пью прохладное вино из резного звенящего бокала, слушаю далекую прохладную музыку, гляжу поверх этих прохладных цветастых девиц в прохладную пустоту комнаты — словно бы с высоты птичьего полета. Разговор заводится кой из чего о том, что я видел, о Ларике. Мои гости недоумевают, с недоверием задают мне странные вопросы, дескать, разве такое может быть? Они мыслят законами мира, в котором все нормально и справедливо. И я ловлю себя на мысли, в которой еще трудно признаться: я не могу говорить с ними, им меня не понять, и нечего сказать мне. И сознавая бестактность своего поступка, я спешу с ними расстаться...

Как-то мне пришлось мельком побывать в Питере. Шункова я застал только к вечеру. Он был шумен, говорлив, рад мне. Поведал ему о недавно полученной отписке из прокуратуры, в которой сообщалось, что версия

убийства Лаврентьева не подтверждается.

— А что ты хотел, Филиппок?— с горечью ожесточился Володя, продолжая так меня называть по армейской привычке.— Ты думал, их тронет судьба убитого человека, их тронет то, в какое позорище превратили армию?.. Да они целое государство убили, пролезли наверх, поправ все законы, и теперь правят нами, как стадом баранов: решают, с кого шерсть стричь, кого на мясо отправить, и в какие сроки сократить численность стада, чтоб проще было колонизировать пастбище.

Я, специалист высшей квалификации по трубопроводам, не нужен. Скажу тебе: в стране миллионы километров разных трубопроводов, по ним течет нефть, газ, топливо, это кровеносные сосуды государства. Они давно уже, очень давно не ремонтируются, не обновляются, потому что нет денег, металла, энергии. Они живут только лишь благодаря нашим старикам, которые дали им высокий запас прочности. Но нет ничего вечного. И однажды все эти сосуды полопаются. А я,— он со злостью открыл кожаную сумку, из которой посыпались пузырьки с американской косметикой, шампунями, духами,— я торгую этим американским дерьмом, опять же работая на их интересы, их кошельки, и кошельки тех, кто спрятался за Кремлевскую стену. Они отняли у меня родину, любимое дело, а самое главное — они отняли у меня гордость за свою страну и за свой народ. Знал бы ты, Филиппок, как я их всех ненавижу...

Встреча с Шунковым совсем не взбодрила меня. Я долго думал. Может быть, найти родителей Ларика? Рассказать, как на самом деле погиб их сын? Но имею ли я право? Ведь его не вернешь. Зачем же мучить родителей, они и так пострадали... А убийцы? Прощать их? Но что же я еще могу!..

Я так ничего и не решил. И совесть гложет меня иногда когда не сплю по ночам.

Что касается людей, о которых рассказал, то я никогда больше не встречал их. О многих, по понятным причинам, не хочу знать ничего, впрочем, как не желаю вспоминать и многое из того, что пережито. Тех, кто были моими друзьями, надеялся бы повидать. Но увы — нас разделили сотни и тысячи километров, время и течение самой жизни. И вряд ли когда-нибудь еще услышу я их стирающиеся в памяти голоса.

P.S. Всего лишь сознавая некий, возможно, и придуманный мной самим долг летописца, написал я этот рассказ. Надо заметить, за слишком неблагодарное я взялся занятие — показывать армию изнутри во всей ее рутине, язвах и — что там изыскивать выражения — обыкновенном позоре. Армия, какая бы она ни была, плохая или хорошая, до последнего дня оставалась оплотом великого государства, брошенного политическими шизофрениками на разорение и деградацию. И слишком много грязи в последнее время на нее было вылито.

Не по-граждански, не по-мужски как-то было выносить сор из избы на всеобщее обозрение. Так мне казалось. Вот именно поэтому давно написанную рукопись я не готовил к печати. Ждал. Считал: не велика заслуга уподобляться стервятнику, пирующему над полуживым телом.

А нынче думаю: не потому ли, что все вот так ждали, приукрашивали и в конечном итоге лгали, появились тысячи трупов восемнадцатилетних солдат,

не умеющих держать автомата, расстрелянных в Чечне, словно в тире?..

приложение

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ

арго и терминов, употребляемых в повести

Антенна — кокарда.

Ара (букв. «друг») — 1. Представитель так называемой кавказской национальности. 2. Дружеское обращение к кавказцу.

Беспредел — крайний произвол.

БМП (бээмпэ) — боевая машина пехоты.

БТР (бэтээр) — бронетранспортер.

БУ (бэу) — бывший в употреблении (в основном о форме).

Буреть — 1. Наглеть. 2. Превращаться в «старого» (см.) **Бурый** — наглый; презирующий законы дедовщины.

Военный, воин — обращение к солдату (зачастую с ироническим оттенком).

Гражданка — 1. Жизнь вне службы в армии. 2. Невоенная одежда.

ГСМ (гэсээм)— горюче-смазочные материалы. Губа — гауптвахта.

Дед — старослужащий (в сухопутных войсках прослуживший от восемнадцати до двадцати четырех месяцев), четвертная, высшая каста в системе дедовщины.

Дедовщина — преступная, основанная на физическом давлении, система порабощения одной группы военнослужащих другой, во многом схожая с законами уголовной зоны.

Дембель — 1. Военнослужащий, ожидающий скорую демобилизацию.

2. Демобилизация.

ДМБ (дээмбэ) — демобилизация.

Дух — то же, что зеленый (см.)

Замести — то же, что припахать (см.)

Зеленый — прослуживший от ноля до шести месяцев; низшая каста в системе дедовщины.

Зема — 1. Земляк. 2. Дружеское обращение к любому солдату или сержанту.

Каптерка — кладовка. КПП (кэпэпэ или кэпэ) — контрольно-пропускной пункт.

Косить — 1. Симулировать. 2. Создавать видимость чего-либо.

Кусок — 1. Прапорщик. 2. Сволочь.

Молодой — прослуживший от шести до двенадцати месяцев; вторая (подчиненная) каста в системе дедовщины.

Немец — прибалт (эстонец, латыш, литовец).

Неуставщина, неуставные взаимоотношения — 1. Более широкий, чем дедовщина, спектр нарушений устава (например, злоупотребление властью офицерами и прапорщиками). 2. Смягченное именование дедовщины, принятое в офицерской среде, обычно при общении

младших со старшими.

Осмотр утренний — утренняя проверка внешнего вида солдат. В системе дедовщины фактически обыск.

Очко — 1. Отверстие в туалете. 2. Туалет.

Идти на очко — 1. Мыть туалет, выполнять грязную работу. 2. Быть наказанным.

3. Справлять нужду.

Парадка — парадная форма одежды солдата и сержанта.

ПШ (пэша) — элегантная парадная шерстяная форма у солдат и сержантов, снятая с производства, но некоторое время неуставно использовавшаяся.

Партизан — военнослужащий запаса, призываемый на военные сборы или под предлогом военных сборов в качестве дармовой рабсилы.

Пахота, пахать — работа, работать.

Плюха — легкий удар.

Поверка — переключка с целью проверить наличный состав людей.

Подменка — бывшая в употреблении повседневная форма, обычно списанная и используемая для грязных работ.

Припахать — приказывать выполнять работу.

Ротный — командир роты.

Самоволка — самовольное оставление части.

Сантренаж (санитарный тренаж, иронич.) — методы устрашения и подавления личности с целью ее полного подчинения воле старослужащих.

Старик — то же, что дед (см.)

Старослужащий — черпак (см.) или дед (см.)

Стариковщина — то же, что дедовщина (см.)

Старый — то же, что старослужащий (см.)

Стукач — 1. Доносчик. 2. Ругательство или ярлык.

Сундук — 1. Прапорщик. 2. Дурак.

Увольнение — 1. Отпуск за пределы части. 2. Демобилизация.

Фазан — то же, что черпак (см.)

Хапчик — чинарик.

Харю мочить — 1. Спать. 2. Избивать.

ХБ (хэбэ) — повседневная хлопчатобумажная форма солдат и сержантов.

Черпак — прослуживший от двенадцати до восемнадцати месяцев, третья (господствующая) каста в системе дедовщины.

Чмо, чмошник, чмарь, чмарюга — 1. Недоносок, урод, простофиля. 2. Зеленый (см.)

Чурка — 1. Кавказец (ругательство). 2. Тупой.

Шестерка — прислужник, холуй, подхалим.

Шестерить — прислуживать.

Шланг — лентяй.

Шланговать — бездельничать.

Шмон — 1. Обыск. 2. Уборка, чистка.

Шмонать — обыскивать.